

ФЕРНАНДО
АРАМБУРУ
Стрижи
роман

CoRpus

18+

Мне долго не давал покоя вопрос:
если человек узнает точные день
и час своей смерти, как это отразится
на его жизни? Ответ на него
в романной форме и дают "Стрижи".

ФЕРНАНДО АРАМБУРУ

Фернандо Арамбуру

Стрижи

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.134.2-31
ББК 84(4Исп)-44

Арамбуру Ф.

Стрижи / Ф. Арамбуру — «Издательство АСТ», 2021

ISBN 978-5-17-146515-5

Роман Фернандо Арамбуру "Стрижи" увидел свет через пять лет после его знаменитой "Родины", переведенной на 34 языка и принесшей автору мировую славу. К удивлению многих, на сей раз писатель резко сменил не только тему, но и стиль письма. Герой "Стрижей", пятидесятилетний преподаватель философии Тони, вроде бы без очевидной причины решает покончить с собой. И назначает точную дату собственной смерти, дав себе год на завершение дел. Тогда же он начинает вести дневник, где каждый вечер описывает события минувшего дня, а также восстанавливает историю своей жизни. Цель дневника — разобраться в себе самом и понять, почему ему так бесповоротно расхотелось оставаться на этой земле. Дневник предельно откровенен, в нем Тони без стеснения выплескивает самые потаенные чувства, вскрывает мотивы самых неприглядных поступков и размышляет о природе счастья, любви, дружбы и семейных отношений. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.134.2-31

ББК 84(4Исп)-44

ISBN 978-5-17-146515-5

© Арамбуру Ф., 2021

© Издательство АСТ, 2021

Содержание

Август	7
Сентябрь	36
Октябрь	66
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Фернандо Арамбуру

Стрижи

First published in Spanish as Los vencejos by Tusquets Editores, S.A.,
Barcelona, Spain, 2021

This edition published by arrangement with Tusquets Editores
and Elkost Intl. Literary Agency

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© Fernando Aramburu, 2021

© Agustín Escudero, original cover design, photographs: © Julia Davila-Lampe / Getty Images,

© Jvphoto / Alamy / ACI

© Н. Богомолова, перевод на русский язык, 2023

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023

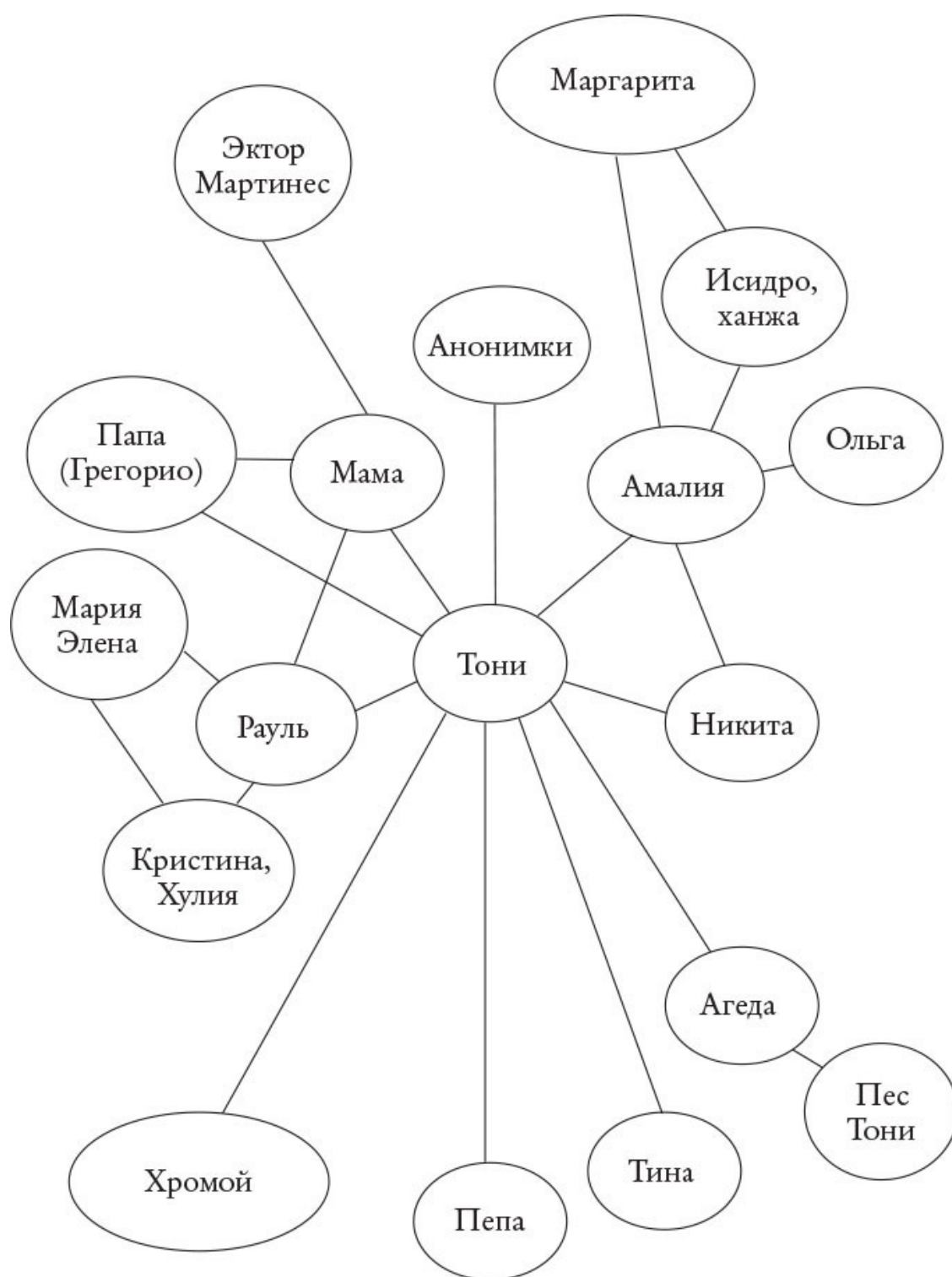
© ООО «Издательство Аст», 2023

Издательство CORPUS ®

18+

* * *

Тебе, Ла Гуана



Август

1

Рано или поздно наступает день, когда любой человек, даже самый тупой, начинает понимать некоторые вещи. Со мной это случилось где-то ближе к середине отрочества, не раньше, так как взрослеть я не спешил и, по словам Амалии, так до конца никогда и не повзрослел.

Сначала я удивился, удивление сменилось разочарованием, а потом все в моей жизни и вовсе пошло наперекосяк. Были периоды, когда я сравнивал себя со слизняком. Не потому, что был некрасивым и хлипким, и не потому, что сегодня по причине особенно мрачного настроения мне хочется вспоминать себя именно таким. Просто я видел что-то родственное в собственной слизнякам манере передвигаться и вообще существовать – неспешно и однообразно.

Жить мне осталось немного. Всего один год. Почему именно год? Трудно сказать. Но больше я точно не выдержу. Амалия, когда ее душила ненависть, обычно кричала, что я как был, так и останусь навсегда желторотым птенцом. Впрочем, женщины в порыве гнева часто пускают в ход подобные упреки. Моя мать тоже ненавидела моего отца, и я ее понимаю. Да он и сам себя ненавидел, и этим, видимо, объяснялась его привычка давать волю кулакам. Отличный пример имели мы с братом перед собой в родительском доме! И вообще, ведь что получается: они воспитывают нас черт знает как, калечат нам души, а потом хотят, чтобы мы выросли порядочными, благодарными, добрыми людьми – и непременно добились в жизни успеха.

Лично мне жизнь не нравится. Возможно, она действительно прекрасна, как утверждают некоторые поэты и певцы, но мне она, повторяю, не нравится. И пусть никто не лезет ко мне со своими восторгами, описывая красоту закатного неба, или музыки, или полосок на тигриной шкуре. Хрен ли толку ото всей этой красоты! Жизнь кажется мне изобретением порочным, плохо задуманным и еще хуже реализованным. Я даже хотел бы поверить в существование Бога, чтобы призвать Его к ответу. И бросить Ему в лицо, что Он халтурщик. По-моему, Бог – это грязный старикашка, который с космических высот наблюдает, как разные биологические виды спариваются, дерутся за место под солнцем и пожирают друг друга. Бога извиняет только то, что Его нет. Но в любом случае оправдать Его я не могу.

В детстве жизнь мне нравилась. Очень нравилась, хотя тогда я этого не сознавал. Вечером мама, прежде чем погасить свет, целовала мои закрытые глаза. Больше всего я любил мамин запах. А вот от отца пахло плохо. Не в том смысле, что от него чем-то воняло, нет, но даже когда он пользовался одеколоном, запах его меня почему-то отталкивал. Однажды мы с отцом вдвоем обедали на кухне (мне было тогда лет семь или восемь), а мать лежала в постели с обычной своей мигренью, и он увидел, что я не хочу даже попробовать печенку, от одного вида которой меня тошнило. Отец просто взбесился, вытащил свой огромный член и сказал: – Чтобы твой собственный когда-нибудь стал таким же, ты должен съесть и этот кусок печенки, и еще много-много других.

Не знаю, позволял ли он себе такое с моим братом. С Раулем родители нянчились куда больше, чем со мной. Видно, считали его слабеньким. Правда, теперь брат утверждает, что любимчиком в семье был я.

По мере того как я подрастал, жизнь нравилась мне все меньше и меньше, но все-таки еще нравилась. Зато сейчас не нравится вовсе, и я не намерен уступить Природе право решать, в какой миг буду обязан вернуть ей одолженные мне на время атомы. Я покончу с собой ровно через год. Даже дату уже наметил: 31 июля, в среду вечером. Такой срок я даю себе, чтобы

успеть привести в порядок дела и разобраться, почему не хочу больше жить. Надеюсь, решение мое будет неколебимо. Во всяком случае, пока я в этом твердо уверен.

Были периоды, когда я мечтал посвятить себя служению неким идеалам, но ничего из этого не вышло. Да и настоящую любовь мне узнать не довелось. Хотя я ловко притворялся – иногда из жалости, иногда из благодарности за ласковые слова, за проведенные вместе часы или за испытанный оргазм. Впрочем, думаю, другие вели и ведут себя точно так же. Наверное, во время сцены с несъеденной печенкой отец хотел таким вот необычным способом убедить меня в своей любви. К сожалению, есть вещи, которые ты, даже видя собственными глазами, не осознаешь разумом, пока не пропустишь через себя. Кроме того, любовь по принуждению – это не для меня. Может, я и вправду недоумок, как часто повторяла Амалия? Ну а другие? Все дело в том, что я не хочу быть таким, каков я есть. И поэтому без сожаления покину этот мир. Лицо у меня по-прежнему вполне привлекательное, и хотя мне уже исполнилось пятьдесят четыре, не лишен я и кое-каких достоинств, которые, правда, так и не сумел обратить себе на пользу. Я здоров, нормально зарабатываю, умею трезво взглянуть на вещи. Думаю, мне было бы полезно побывать на войне, как, впрочем, и моему отцу. Тот наверняка тоже мечтал поучаствовать в бою; а раз не довелось, воевал как со своими домашними, так и со всем, что нарушало его жизненный ритм, да и с самим собой в придачу. Еще один недоумок.

2.

В тот год мы всей семьей проводили летний отпуск на море, в поселке неподалеку от Аликанте. Наш папа был неудавшимся писателем, неудавшимся спортсменом, неудавшимся ученым и зарабатывал на жизнь, обучая студентов в университете. Мама служила на почте, вполне резонно решив обеспечить себе финансовую независимость от мужа. То есть в материальном плане мы жили настолько хорошо, насколько это было в те времена доступно испанской семье среднего класса. У нас был новый синий «Сеат-124». Мы с братом Раулитом учились в частной школе, на август родители могли снять у моря апартаменты с террасой и выходом к общему бассейну. Иными словами, у нас было все необходимое, чтобы чувствовать себя в меру счастливыми. И в тогдашнем своем возрасте, в четырнадцать лет, я и считал это счастьем.

Я провалил экзамен по одному из предметов, и в сентябре меня ждала пересдача. Взяв в руки табель с оценками, мама несколько раз с укором всхлипнула, и у нее сразу же разыгралась мигрень. Папа, которого отличали более незатейливые реакции, отвесил мне оплеуху, обозвал тупицей и поспешил вернуться к своей газете. Но все это отнюдь не нарушило мирного течения моей жизни. Кстати сказать, в детстве я мечтал стать взрослым, чтобы лупить своих детей. С ранних лет я усвоил, что это самое лучшее воспитательное средство. Правда, потом на собственного сына ни разу не поднял руки – вот почему мальчишка таким у нас и вырос.

Именно во время того летнего отпуска я стал свидетелем сцены, из-за которой в голове у меня замигал красный сигнал тревоги. Однажды мы с Раулитом возвращались домой после игры в мини-гольф, и я сунул ему за шиворот маленькую ящерицу. Обычная ребяческая шалость. Он испугался. Вообще-то, с таким братом, как я, ему приходилось несладко. Когда мы оба уже стали взрослыми, он после какого-то семейного праздника обвинил меня в том, что я отравил ему детство. Ну что на это ответишь? Я выбрал самый удобный вариант: попросил у него прощения. – Поздно вато спохватился, – отрезал брат, которого переполняла долго копившаяся ненависть.

Почувствовав ящерку у себя на спине, Раулит очень смешно подпрыгнул, чего я, собственно, и добивался. Что было дальше? Он споткнулся, упал и покатился по каменной насыпи, отделявшей дорогу от лимонной рощи. Правда, потом легко вскочил на ноги, но, увидав свои ободранные в кровь коленки, заорал благим матом. Я велел ему заткнуться. Разве он не понимает, что мне за это влетит? Мама, услышав громкие вопли, выбежала из дому на улицу, папа

появился следом; внешне он был спокоен, но, как я думаю, злился, что дурацкий переполох оторвал его от чтения, или от сиесты, или от чего-то еще. Мама при виде крови без лишних вопросов дала мне затрещину. Папа, словно бы нехотя, дал еще одну. Как правило, мама сердилась сильнее, но била не так больно, как он. Брата повезли в медпункт, расположенный на набережной. И час спустя Раулито вернулся с пластырем на коленках и с перемазанным мороженым ртом. А теперь он будет утверждать, что не был в семье любимчиком.

Меня в наказание лишили ужина. Они втроем молча сидели за столом, тыкая вилками в большие кружки помидоров с маслом и солью, а я, уже натянув пижаму, тайком наблюдал за ними, прячась на самом верху винтовой лестницы. Я хотел знаками показать брату, чтобы он прихватил мне чего-нибудь поесть, но этот олух ни разу не посмотрел в мою сторону. На плите стояла кастрюля с супом, от которой поднимался пар. Мама поставила полную тарелку перед Раулитом. Тот нагнулся, словно желая весь пар вдохнуть в себя. А я в своем укрытии умирал от голода и зависти. Тем временем мама снова подошла к кастрюле, на сей раз с папиной тарелкой, и, когда уже наполнила ее, незаметно туда плюнула. Впрочем, плюнула – не совсем точное слово. Она позволила упасть в тарелку ниточке своей слюны. Слюна секунду повисела у нее на губе, а потом сорвалась вниз. Мама быстро перемешала половником суп в тарелке и подала папе. Мне со своего места хотелось предупредить его, но я вдруг понял, что сперва надо как следует обмозговать увиденное. Наши родители часто ссорились. Может, и в этот вечер они уже успели поссориться и потому ужинали молча и не глядя друг на друга? А вдруг мама и мне тоже когда-нибудь плевала в тарелку? Не исключено, конечно, что материнская слюна очень полезна, но тогда почему мама не плюнула и в суп Раулитом? Почему обидела своего несчастного любимчика? А может, плевать в тарелку мужа – это какая-нибудь старинная традиция, которую она переняла еще в детстве от своей матери или одной из теток?

3.

Допустим, в решающий момент я не струшу и выполню задуманное, но что тогда будет с Пепой? Не могу же я навязать ее Хромому, который и так никогда не отказывается в случае необходимости взять собаку к себе на ночь. Слава богу, что я дал себе год сроку на устройство этого и прочих важных дел. Пепе уже исполнилось тринадцать. Говорят, чтобы приравнять собачий возраст к человеческому, надо умножить его на семь, хотя далеко не всякой породе присуще такое жизнелюбие, как Пепе. Окажись моя собака дамой, ей было бы теперь под девяносто. Но любая старуха только позавидует ее резвости. На самом деле Пепе принадлежит Никите. Поэтому я мог бы за несколько часов до рокового мига привязать ее к дверям квартиры, где сын живет с другими «окупас»¹. И пока иной вариант мне в голову не приходит.

Амалия решительно возражала против нашей идеи завести щенка. У нас дома мы никогда никаких животных не держали. Едва зашла об этом речь, как Амалия стала перечислять аргументы против. От собак много грязи, они требуют постоянного ухода, страдают от паразитов, болеют, дерутся между собой, хулиганят, кусаются, гадят, от них воняет, на них надо тратить прорву денег. Хозяева к ним привязываются, а потом, когда собака умирает, ее очень жалко. Мне кажется, Амалия не постеснялась бы и подсчитать, сколько будет стоить укол, усыпляющий животное.

Поначалу я разделял ее мнение. Сын же твердил, что его школьному приятелю родители подарили щенка, и Никита не желал от него отставать. Но, как я заметил, особую настойчивость он проявлял, когда мы оставались с ним вдвоем. Иными словами, старался привлечь меня на

¹ «Окупас» (от исп. *осураг* – занимать, захватывать) – в Испании так называют группы молодежи, которые захватывают пустующие жилые и коммерческие помещения и которых довольно трудно оттуда выдворить из-за особенностей испанского законодательства. (Здесь и далее – прим. перев.)

свою сторону тайком от несговорчивой матери. Было ясно, что сын считал меня более слабым звеном в семейной иерархии. Прямо он этого не говорил, но мне не стоило труда угадать его мысли. Я нисколько не обиделся, наоборот, даже расчувствовался. В поведении Никиты не было презрения к отцу, скорее – ощущение некоторого сродства. Мы оба оказались в лагере слабаков и, только объединив усилия, могли противостоять воле нашей повелительницы, чтобы добиться своего. И разумеется, мы их объединили. С некоторых пор я стал гораздо активнее ратовать за покупку собаки. Мало того, в тактических целях изображал из себя человека рассудительного и озабоченного проблемами воспитания. Но потерпел поражение. Тогда я обратился за советом к Марте Гутьеррес, единственной из коллег по школе, кому более или менее доверял и с кем мог поделиться личными проблемами. А вдруг ей придет в голову, как повлиять на упрямую и непреклонную женщину и заставить ее уступить в семейном споре. Марта поинтересовалась, не свою ли жену я имею в виду.

– Нет, я говорю о женщинах в целом.

– Не бывает женщин в целом.

– Ладно, речь действительно идет о моей жене.

И я рассказал про собаку и в общих чертах обрисовал характер Амалии. Тогда Марта посоветовала воздействовать на нее через *эмоциональный интеллект*. Я ответил, что это звучит для меня китайской грамотой. Марта объяснила: надо пробудить в Амалии муки совести. Каким образом? Мы с сыном должны всеми силами стараться показать, как нам грустно и какие мы несчастные, давая понять, что виновата в этом только она. Возможно, Амалия почувствует свою неправоту или, по крайней мере, какую-то неловкость перед нами, усомнится в собственной позиции и в конце концов уступит, хотя бы только ради мира в семье. По словам Марты Гутьеррес, такая тактика не всегда приводит к успеху, но ведь попытка – не пытка.

И это подействовало, правда, нам пришлось принять целый ряд условий, выдвинутых Амалией, и условий весьма жестких. Сама она ни секунды не потратит на собаку. Не будет выводить ее гулять, не будет кормить и так далее. И чтобы доказать, что это не пустые слова, с первого же дня не позволяла щенку даже приближаться к себе. А он не желал понимать ее жестов и упорно пытался влезть к Амалии на колени, виляя хвостом в знак любви и дружбы.

– Почему ты не хочешь погладить его? – спросил я.

Указав пальцем на что-то, она ответила:

– А почему ты не хочешь убрать вот это?

Щенок напустил лужу на ковер. Я схватил мокрую тряпку, потом поработал феном, и на ковре не осталось никакого следа. И запаха тоже не осталось. Щенячья моча почти не пахнет. Амалия, не поверив мне, встала на колени и сама в этом убедилась. Кстати сказать, она высмеяла все клички, которые придумывали мы с Никитой. В ответ мы предложили:

– Ну, тогда придумай сама.

– Пепа, – сухо бросила жена.

– Пепа? Почему?

– Нипочему.

Так мы собаку и назвали.

4.

Первое анонимное послание, найденное мною в почтовом ящике, было написано от руки и целиком заглавными буквами. «Небось дело рук какого-нибудь вредного соседа», – подумал я. В тот раз мне и в голову не пришло, что за этой запиской последует много других и она открывает историю длиной почти в двенадцать лет. Я скомкал листок и, выйдя вечером на прогулку с Пепой, швырнул его в лужу. Помню только, что записка состояла из двух строк: это был выговор за то, что мы не убираем на улице собачьи кучки. А еще там присутствовало слово

«свинья». Обычно я ношу с собой в кармане не меньше пары полиэтиленовых пакетиков, но должен признаться, что поначалу (потом такое уже не повторялось) я мог во время прогулки погрузиться в свои мысли, или обдумывал завтрашние уроки, или мне попросту было лень наклоняться, и, уверенный, что меня никто не видит, не убирал за собакой. Не исключая, что записка была адресована Никите, который тоже выгуливал Пепу. Амалии я не сказал ни слова.

5.

Не знаю почему, но в начале семидесятых мы всей семьей поехали в Париж, а не, скажем, в Сеговию или Толедо, то есть куда-нибудь поближе, где люди объясняются на нашем языке. Папа говорил на ломаном французском, мама не знала по-французски ни слова. Возможно, причиной поездки было желание поразить соседей или доказать родственникам, что мы семья дружная и обеспеченная.

Там была река. Не уверен, что знал тогда ее название, а может, и знал, сейчас это уже не имеет никакого значения. Также затрудняюсь сказать, по какому мосту мы двигались и куда. Зато точно помню, что впереди шли папа и мама, между ними – Раулитто, а я отставал от них на шесть-семь шагов. Они держали Раулитто за руки, и он как будто бы служил для них связующим звеном. Мне казалось, что они любят его больше, чем меня. Хуже того, его они любят, а меня нет или заботятся только о нем, а про старшего сына просто-напросто забыли. А ведь я мог попасть под машину либо под мотоцикл, они же, не заметив моей гибели, шагали бы себе дальше как ни в чем не бывало. От мыслей об их равнодушном ко мне отношении я по-настоящему страдал. И тут совсем рядом увидел перила моста, на которые легко было взобраться, внизу – мутную и спокойную реку, отражавшую послеполуденное солнце. Хорошо помню звук, с каким я погрузился в воду, а также удивившее меня ощущение внезапного холода. Падая вниз, я слышал женские крики. Но прежде чем я успел наглотаться воды, чьи-то сильные руки вытолкнули меня на поверхность. Папа потерял в реке ботинки. Потом он не один год с гордостью рассказывал эту историю и считал мое спасение главным подвигом своей жизни. В душе он был очень доволен тем, что пришли в негодность наручные часы, видимо весьма дорогие, которые в былые времена принадлежали его отцу. На папу часто нападало желание похвастать своим геройством. Ведь в миг, когда надо было выбирать между сыном и часами, он без колебаний принял решение.

Ни мама, ни он не стали меня ругать. Мама была настолько потрясена и настолько благодарна мужу, что прямо на глазах зевая, окруживших нас на дорожке у берега, обняла его, мокрого с головы до ног, и осыпала поцелуями. Папа любил пошутить, что я родился дважды. В первый раз жизнь мне дала мама, а во второй – он.

Помню, что в гостиничном номере повсюду были разложены для просушки папины вещи – черная папка, паспорт, бумажные франки и так далее. Вечером мы отпраздновали в ресторане то, что я не утонул, и папа один выпил целую бутылку вина. При этом он посадил себе спереди на рубашку большое лиловое пятно, но мама на сей раз сочла за лучшее промолчать.

6.

Вчера я отправился навестить маму. И для начала, как всегда, убедился, что на стоянке нет машины брата. Если она там, поворачиваю назад. В других обстоятельствах я нормально разговариваю с Раулем, но когда прихожу к маме, она должна целиком и полностью принадлежать мне одному. Обычно я бываю в пансионате для пожилых раз в неделю, хотя должен признаться, что в последнее время стал иногда нарушать заведенный порядок.

А ведь очень важно регулярно проверять, получает ли мама надлежащий уход. До сих пор повода для жалоб у нас не находилось. Я часто требую отчета о здоровье и стараюсь сделать

так, чтобы персонал знал, что я тщательно осматриваю ее комнату, шкафы и личные вещи. Так же поступает и Рауль. Это была его идея – следить всегда и за всем, даже если нас будут считать занудами, и я с ним согласен. В пансионате есть старики, которых никто не навещает. Их сдают туда, словно избавляясь от бесполезного хлама. И я часто думаю, что в этом заведении о таких заботятся хуже, чем о тех, чьи родственники могут явиться в любой момент и, если что-то им не понравится, нажалуются руководству, или напишут в газету, или изложат свои претензии в социальных сетях.

С некоторых пор мама перестала нас узнавать. Это было тяжелым ударом для Рауля и вызвало у него такую сильную депрессию, что ему даже пришлось брать больничный. Хотя недуг, возможно, был связан и с чем-то другим, а состояние мамы только усугубило ситуацию. Есть у меня на этот счет догадки, но расспрашивать брата не хочется. Не исключаю я и такого объяснения: историю с больничным Рауль просто выдумал, желая в очередной раз что-то мне доказать, но что именно, я так и не понял. Скорее всего, имелось в виду, что при возникновении какой-то проблемы или серьезных неприятностей его они задевали по-настоящему, а меня нет.

Сознание у мамы меркло постепенно. Насколько я понимаю, болезнь Альцгеймера освободила ее от так называемого трагического восприятия жизни. Достаточно было понаблюдать, как она медленно угасала, погружившись в полную апатию. Однажды Рауль принес маме ее же собственную фотографию, надеясь, что это вызовет хотя бы малейшее просветление у нее в голове. Фотография в рамке так до сих пор и стоит на столике, но толку от нее не больше, чем от чучела какого-нибудь зверька.

Хотя в общем-то, с учетом всех обстоятельств, мама находится в сносном состоянии. Разве что сильно похудела и сгорбилась. Вчера, когда я шел вниз к лифту, сиделка сообщила, что мама только что заснула. Я сел рядом и принялся ее разглядывать. Лицо у нее было спокойное. Это меня порадовало. Если бы на нем отражалось страдание, я бы просто сошел с ума. Дышала она легко, и мне даже показалось, что я уловил намек на улыбку у нее на губах. Возможно, во сне она видит какие-то картины из прошлого, но вряд ли способна придать им определенный смысл.

Что-то мне подсказывает, что мама проживет еще не меньше года. И тогда, если ей сообщат о моей смерти, она этого не осознает. И даже не заметит, что я перестал навещать ее. Вот еще одно преимущество, даруемое альцгеймером.

В какой-то миг я приблизил свои губы к ее уху и прошептал:

– Я уйду из жизни следующим летом в последний день июля.

Мать продолжала безмятежно спать.

Я добавил:

– Однажды я видел, как ты плюнула в папин суп.

7.

Меня очень заинтересовало опубликованное одной газетой интервью с машинистом электропоезда в метро. Оно заняло целую полосу. Речь там шла о людях, которые бросаются на рельсы, и о психологических последствиях подобных происшествий – они, как оказалось, случаются довольно часто – для человека, ставшего прямым свидетелем самоубийства и не сумевшего его предотвратить, даже если быстро нажал на тормоз. Не все самоубийцы погибают. Согласно статистике больше половины выживают, хотя часто с ужасными увечьями. От этой последней детали я похолодел. Остаться парализованным или лишиться ноги и передвигаться на инвалидной коляске – такая судьба привлекает меня меньше всего. Кто будет обо мне заботиться?

Вечером в баре у Альфонсо я изложил свой план Хромому. Мне не терпелось услышать чье-нибудь мнение, а Хромой в нынешние времена – мой единственный друг. Так вот, его реакцию можно было сравнить с эйфорией. А я-то думал, что он придет в ужас и начнет горячо меня отговаривать!

Поначалу я решил, что он меня просто разыгрывает. И прямо в лоб его об этом спросил. Тогда он признался, что и сам тоже вот уже несколько лет обдумывает, как бы свести счеты с жизнью. Причин, само собой, у него хватает, достаточно вспомнить про отсутствие ноги, хотя протез он ловко скрывает под брюками.

Интервью с машинистом Хромой еще не читал. Нужной газеты в баре не оказалось. Обычно они там лежат, пока какой-нибудь мерзавец, уходя, не прихватит с собой последний номер. И мой друг поспешил в киоск, чтобы купить себе экземпляр. Я уже заметил, что он проявляет большой интерес к траурным темам, особо выделяя самоубийства – или «добровольный уход из жизни», как предпочитает их называть. По его уверениям, он как следует изучил проблему и перелопатил кучу соответствующих книг.

Мы вместе принялись читать интервью. Машинист, мужчина сорока пяти лет, проработавший в этой должности двадцать четыре года, жаловался, что журналисты всегда пишут только о человеке, который кинулся под поезд, и никогда о тех, кто этот поезд вел. Когда он впервые столкнулся с самоубийством, жертвой была семнадцатилетняя девушка. После чего он девять месяцев провел на больничном. Машинист в подробностях описывал и другие случаи. Хромой, сидя рядом со мной, с явным удовольствием читал и комментировал его ответы. А затем предложил мне свою помощь в задуманном мною деле. Себе самому он еще даст время, чтобы хорошенько пораскинуть мозгами и потом уж решить, не последовать ли моему примеру.

– Иначе я останусь совсем один, – объяснил он. При этом каждая черточка на его лице выражала энтузиазм. И тут же он стал отговаривать меня бросаться на рельсы в метро: – Упаси тебя Господь причинять такие страдания машинистам.

Мой друг ткнул пальцем в те строки, где герой интервью рассказывал, что до сих пор видит во сне взгляд какого-то старика за несколько секунд до его гибели.

Хромой, разумеется, не знает, что я называю его Хромым в этих своих тайных записках.

8.

Кто-то позвонил маме по телефону около полуночи. Какой-то знакомый, или родственник, или сосед вытащил ее из постели, преследуя не самые благородные цели, как теперь, оглядываясь назад, я могу оценить такой поступок уже с позиции взрослого человека.

Зачем я опять возвращаюсь к детским воспоминаниям? Кажется, скоро я признаю справедливость мнения, будто человек, приближаясь к финальному часу, невольно окидывает мысленным взором всю прожитую жизнь. Я слышал и читал об этом много раз. И всегда называл чушью, но теперь готов переменить свое мнение. Итак, продолжу рассказ.

Мы с Раулитой уже спали в нашей общей комнате, поскольку завтра нас ждал обычный школьный день. Мне тогда было девять лет. И это случилось точно уже после нашей поездки в Париж. Вдруг вспыхнул свет, мама босиком и в одной ночной рубашке растолкала нас и велела побыстрее одеваться. Я до смерти хотел спать и спросил, в чем дело. Но она не ответила.

Уже через несколько минут мы бегом спускались по лестнице вниз – мама тащила Раулитой за руку, а я следовал за ними. Думаю, она не хотела, чтобы соседи слышали шум лифта, или просто у нее не хватило терпения его дожидаться. На каждой лестничной площадке она оглядывалась и, прижав палец к губам, велела мне молчать, хотя я и так за все это время не проронил ни звука.

Едва мы вышли на улицу, как на нас обрушились порывы зимнего ветра. Небо было непроглядно черным. Фонари горели, но мы не увидели вокруг ни души. Из рта у нас шел пар. Вскоре мама остановила такси, и мы втроем расположились на заднем сиденье – она посередине между мной и Раулитом. Я так и не понял, куда и с какой целью мы едем, но мама ущипнула меня, чтобы я прекратил задавать вопросы. Потом резко мотнула подбородком, указывая на затылок таксиста. И тогда до меня дошло, что ему незачем слушать наши разговоры. Я страдал от тревожной мысли, что мы убежали из дому, и мне было очень жаль потерянных навсегда игрушек. Я сильно злился на себя за то, что не прихватил хотя бы какую-нибудь одну. Только об этом я и думал всю дорогу. А Раулит снова заснул. Мама посадила его к себе на колени и крепко обняла.

Из такси мы вышли у бара на незнакомой улице. Мама велела нам спокойно стоять рядом с дверью и никуда не уходить, потому что через минутку за нами кто-нибудь явится и отвезет обратно домой. Затем она захлопнула дверцу такси и исчезла, оставив нас с братом одних на узком тротуаре окоченевших от холода. Раулит стал кланяться у меня хотя бы на время мои перчатки. Я ответил, что мне самому холодно и что он напрасно не взял своих. Потом я спросил, страшно ему или нет. Он ответил, что страшно. Я назвал его трусом, мокрой курицей и слюняем.

Не помню, как долго мы простояли перед баром, уж точно не меньше двадцати минут, и за все это время не видели, чтобы кто-то туда входил или оттуда выходил. За окнами светились красные лампочки – ничего другого мне не запомнилось. Наконец дверь открылась. До нас донеслись голоса и смех, заглушенные музыкой. Высокий мужчина, едва державшийся на ногах, шагнул на тротуар, таща за собой женщину, которую пытался поцеловать в грудь, но у него ничего не получалось, так как дама уворачивалась, не переставая смеяться. Раулит мгновенно узнал мужчину.

– Папа! – закричал он и кинулся к нему.

9.

Хромой позвонил мне вчера ночью, когда я уже заснул. Поначалу я испугался, что мой Никита попал в аварию или его увезли в полицию, залитого чужой кровью. Потом спросил Хромого, посмотрел ли он на часы. Я так разозлился, услышав его голос, что чуть не назвал вслух придуманным для него тайным прозвищем. Он стал извиняться. Дело вот в чем: завтра он уезжает в отпуск, и ему показалось, что мне будет небезынтересно кое-что узнать, пусть и в столь поздний час.

После того как я открыл ему свой план (черт меня дернул это сделать!), Хромой вплотную занялся изучением проблемы «добровольного ухода из жизни». Ему очень нравится называть это именно так: «добровольный уход из жизни». Он буквально упивается этой темой, смакует каждый новый факт, каждую цитату и каждую версию. У меня даже мелькнула мысль, что он не воспринял мое решение всерьез. А если сказать ему, что я раздумал, что план мой родился в результате мимолетной вспышки отчаяния? Возможно, таким образом я сумел бы избавиться от его надоедливой, несокрушимой и, разумеется, наивной энтузиазма.

Хромой принялся рассказывать, что в некоторых средневековых королевствах труп самоубийцы в наказание расчленили. И хуже всего приходилось голове. Пока он говорил, я смотрел на будильник. Четверть первого. Мне хотелось бросить трубку. Но я этого не сделал. Хромой – мой единственный друг. Я снова стал его слушать. Голову привязывали к лошади, которая волокла ее по улицам в назидание живым. Потом голову выставляли на площади или вешали на дерево. Что я об этом думаю?

Я опять лег в постель, но заснуть уже не мог, и не из-за истории, подкинутой мне Хромым, – она, если честно, при всей своей жестокости не произвела на меня никакого впечатле-

ния, а из-за проблемы, которую я переживал все последнее время. Я никак не могу решить, возвращаться мне после каникул в школу или нет. Какой смысл продолжать работать и терпеть рядом ненавистных, за исключением двоих-троих, коллег и еще более ненавистную директрису, а также придурков, которых почему-то принято называть учениками? Я мог бы воспользоваться своими сбережениями и прожить этот год как король. Мог бы посетить страны, которые всегда мечтал увидеть. Но к сожалению, должен оставаться дома из-за Пепы. Нельзя же отправить ее к Хромому на такой срок. Кроме того, я не хочу уезжать от мамы. И от Никиты.

10.

Я думаю о Никите всякий раз, когда вижу на улице, или в метро, или где угодно человека с татуировками. В свое время я никак – не хорошо и не плохо – не среагировал на их появление, когда мой сын пошел на поводу у моды, требующей наносить рисунки на кожу. К тому же мы так мало времени проводили вместе, что я всеми силами старался избегать ссор.

Жизненные правила диктует ему мать, которая именно для этого с помощью адвоката добивалась, чтобы сын жил с ней, против чего я, собственно, и не возражал. Ей – сын, мне – собака. У меня нет ни малейших сомнений относительно того, кто остался в проигрыше при таком разделе. Простодушие толкает Никиту к откровенности. Он выдает мне материнские секреты: «Мама плохо говорит про тебя». Или: «Мама приводит домой тетенок, и они вместе ложатся в постель».

Парню исполнилось шестнадцать, когда он без разрешения матери набил себе первую татуировку. Я похвалил его, хотя результат показался мне плачевным. Но пусть лучше видит во мне товарища, чем грозного отца. К тому же его нельзя упрекнуть в плохом вкусе. Я даже испытываю соблазн приписать ему некое поэтическое настроение, благодаря которому он выбрал дубовый листок, правда, такой мелкий, что рассмотреть его можно только вблизи. С расстояния больше трех метров листок выглядит как непонятное пятно. А еще Никита сделал наколку на неудачном месте – на середине лба. Увидев ее в первый раз, я поспешил прикусить язык, чтобы не начать издеваться над сыном. А он не без гордости сообщил, что вся их компания сделала татушки. «На лбу?» – спросил я. Нет, на лбу только он один.

Какое-то время спустя появилась новая татуировка, на сей раз на спине. К моему ужасу, это была свастика. Я изобразил полную дремучесть и поинтересовался, что сей символ означает. Бедный парень ничего ответить не смог. Главным, на его взгляд, было то, что они с друзьями носили на теле одинаковый рисунок и он мог считаться опознавательным знаком для их компании.

Я замечаю, что не могу думать о сыне без горьких чувств. И часто – хотя с годами все реже – возвожу целую башню из претензий к нему, но в конце концов сам же ее и разрушаю, дунув на нее из жалости. Разве можно в чем-то упрекать Никиту, если вспомнить, какого отца и какую мать дала ему судьба.

Амалия назначила мне встречу в кафе при Обществе изящных искусств, чтобы мы обсудили новую наколку нашего сына и вместе решили, как действовать дальше. И это останется на всю жизнь? Какой стыд! А нельзя ли свести фашистский символ с помощью лазерной техники? Я сидел с безучастным видом, пока наконец Амалия, выйдя из себя, не спросила, неужели меня ни капли не волнует, как ведет себя Никита. Меня это очень даже волновало, но, поскольку мне разрешалось видеться с мальчиком лишь в часы, строго определенные судьей, мои руки были связаны, и я был лишен возможности вмешиваться в его дела. Во взгляде Амалии я читал: «Ну, а теперь давай скажи, что я не справляюсь с его воспитанием, скажи это, пожалуйста, оскорби меня, чтобы я могла выплеснуть все, что накопилось на душе, чтобы бросить тебе в лицо, в чем виноват лично ты». Но я ничего подобного ей не сказал. И готов поклясться, что она была этим сильно раздосадована, во всяком случае, простилась со мной, как всегда, злобно:

– Ты ведь меня ненавидишь, правда?

11.

Я не был на кладбище с похорон отца. То есть много-много лет. Меня эти уголки благодати и покоя никогда и ни в малейшей степени не привлекали. Мне там скучно. А вот Хромой, напротив, очень любит прогуляться время от времени по городским кладбищам, особенно по кладбищу «Альмудена», потому что оно крупное и там много знаменитых постояльцев. К тому же находится недалеко от его дома. Больше всего ему нравится посещать могилы известных людей, а когда он бывает в других городах, заглядывает на погосты и там, в том числе, разумеется, за границей. И не упускает случая сделать фотографии. Вывешивает их в сети и показывает мне. Гляди, это могила Оскара Уайльда. Гляди, а это Бетховена. И так далее. На кладбище «Альмудена» я пошел сегодня утром именно потому, что Хромой уехал в отпуск, то есть я освободился и от его компании, и от макабрической эрудиции. Вот только не знал, можно ли посещать кладбище с собакой. На всякий случай я оставил Пепу дома. Правда, потом встретил там даму с чудесной немецкой овчаркой.

Уже несколько дней как стоит невыносимая жара. От остановки 110-го автобуса до могилы дедушки, бабушки и отца идти довольно далеко. Пока дошел, рубашка промокла от пота, а сам я едва дышал. К тому же могила находится на самом солнцепеке. На плите из нешлифованного гранита выбиты в порядке захоронения имена дедушки Фаустино, бабушки Асунсьон и моего отца. Гробы ставили один на другой, и следующим будет мой. Через год. Земля под могилу арендована нами на девяносто девять лет. Из них прошло уже около пятидесяти. Я лег на плиту. Мне хотелось испытать, что чувствует человек, лежа на кладбище. Понятно, что это ребяческая выходка, но кто меня видит? Мне уже известны даты, в промежутке между которыми пройдет моя жизнь. Мало кому такое доступно. Через одежду я ощущал тепло от камня. Надо мной и над миром висело безупречно синее небо, не испорченное, как ни странно, белыми полосами от самолетов. И тут я услышал приближающиеся голоса, поэтому быстро встал и ушел от могилы. Не хочется, чтобы кто-нибудь подумал обо мне плохо.

12.

Я долго не мог поверить, что за отцом водились серьезные грехи. Прошло уже столько лет, а меня до сих пор словно острым ножом пронзает желание, чтобы оказались пустой выдумкой некоторые слухи, в далекие времена долетавшие до моих ушей с факультета. Ходили разговоры, будто, переспав с ним, студентки могли существенно улучшить свои оценки на экзамене или будто в обмен на некие услуги он помогал кому-то сделать университетскую карьеру, но о каких именно услугах шла речь, я так и не узнал. Подтверждения слухам нет, однако то обстоятельство, что они проистекали из разных источников и в разные годы, заставляет признать худшее.

Ребенком я считал, что плохая у нас мама. Теперь я стараюсь своей любовью и частыми посещениями искупить тогдашнюю ошибку. Хотя ошибкой это было лишь отчасти, поскольку святой нашу маму никто не назвал бы. В оправдание ей надо сказать, что она нередко была просто вынуждена защищаться. Но при этом, насколько мне дано судить, мама была ловкой притворщицей и часто сама нападала первой, хотя выглядело все вроде бы иначе. Я долго над этим раздумывал и пришел к выводу, что в любом случае за ней было чуть меньше вины, чем за отцом.

Мы с Амалией в конце концов все-таки поняли, что тратим слишком много сил и времени, портя друг другу жизнь. И, перешагнув через предрассудки сентиментального плана, развелись при помощи закона 2005 года об «экспресс-разводе». А вот у моих родителей не

было столь счастливой возможности. Закон о разводе 1981 года ставил административные барьеры, которые было очень трудно преодолеть, к тому же в те времена испанцы все еще считали брачные узы нерушимыми. Развестись позволялось только через суд. Непременным требованием для получения развода было раздельное проживание супругов хотя бы в течение года. Наши папа и мама – то ли решив, что так им будет удобней, то ли желая избежать пересудов, – предпочли жить вместе в состоянии гражданской войны, называемой супружеством, пока их не разлучит смерть, как оно, собственно, и вышло. В тот день, когда мы похоронили папу, ему было на четыре года меньше, чем мне сейчас.

Теперь, по прошествии десятилетий, меня мало волнуют давнишние обвинения в адрес отца. Я не оправдываю его и не осуждаю. И твердо знаю: если бы он воскрес, сразу кинулся бы меня обнимать. А раз уж ему не дано вернуться, я сам отправлюсь на встречу с ним. Возможно, так действует коньяк, который я пью нынешним вечером, пока пишу эти строки, но мне приятно думать, что мы с ним будем лежать в одной могиле.

13.

Как-то раз я поехал с друзьями на праздник в Университетский городок. В первую очередь мы занялись по дорожке кокса. Не помню, чтобы я почувствовал что-то особенное. Видно, ничего общего с кокаином, кроме названия, тот порошок не имел. Затем я пил пиво, поскольку на большую роскошь мой карман рассчитан не был, но даже не опьянел. Я дурачился в углу с одной француженкой, которая успела подать мне кое-какие надежды. Потом она с очень милым акцентом сообщила, что ей надо отлучиться в туалет. Мне понадобилось минут двадцать, чтобы понять, что она не вернется. И что, скорее всего, никакая она не француженка.

Домой я пришел уже под утро. Точного времени не помню. В квартире было темно и тихо, поэтому мне показалось, что все спят. С тех пор как я поступил в университет, никто не следил за тем, когда я ухожу и когда возвращаюсь. От меня требовалось одно – сдавать экзамены, об остальном (мой распорядок дня, мои приятели, мои увлечения) я мог ни перед кем не отчитываться. Надо полагать, мама, спавшая очень чутко, прислушивалась, желая убедиться, что ее сын явился домой целым и невредимым. Но я старался не шуметь, так как считал: если сам я имею право жить своей жизнью, то моя семья имеет право на отдых. Я хорошо ориентировался в темноте, помня, где и что из мебели стоит, поэтому легко пересек гостиную. И отправился напрямик в постель, даже не заглянув в туалет и не зажигая света, чтобы не разбудить Раулито, с которым мы по-прежнему делили одну комнату в нашей небольшой квартире.

Вскоре я почувствовал дыхание брата у своего лица. Он слегка взволнованным шепотом спросил, видел ли я его. Кого? Папу, он лежит там, под покрывалом. Но я не воспринимал Раулито всерьез. Он был толстый, носил очки и говорил писклявым голосом. Я ответил, что в гостиной никого не видел и вообще хочу спать. Тогда Раулито сказал словно бы про себя:

– Значит, он смог дойти до кровати сам.

Прежде чем отправиться обратно в постель, брат, не сдержав любопытства, поинтересовался, удалось ли мне сегодня заарканить какую-нибудь девушку.

– Еще бы! – ответил я. – Мы с одной француженкой трахались за кустами. Хорошо, если она успела принять таблетку, потому что спустил я в нее как следует.

У Раулито тогда девушек не было, поэтому он довольствовался онанизмом и моими рассказами. Брат вытянул из меня обещание завтра же рассказать ему о моих похождениях во всех подробностях. Вот и все, а на рассвете нас разбудила мама.

Папа лежал на полу в гостиной – мертвый. На ковре, с открытыми глазами, под покрывалом, как и сказал мне ночью Раулито. Позднее я узнал, что покрывалом его укрыла мама в одиннадцать вечера – чтобы не замерз. Папа незадолго до этого вернулся домой совершенно пьяный, они поссорились, и он заснул прямо на полу.

Мы стояли и молча смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Я вдруг усомнился, действительно ли отец умер. Может, он просто потерял сознание? Я даже предложил вылить ему на лицо стакан холодной воды. Одна только мама решилась подойти к телу, кончиком тапка она дотронулась до головы отца и чуть качнула ее, чтобы у меня пропали последние сомнения. – Теперь вы остались без отца, а я стала вдовой, – проговорила она ледяным тоном, и в ее голосе не было даже намека на горе.

Мы решили вызвать «скорую», хотя и знали, что толку от нее не будет никакого.

Отца похоронили четыре дня спустя в гробу орехового цвета. Я попытался увильнуть и не присутствовать на церемонии, сославшись на то, что завтра утром мне предстоит тяжелый экзамен, однако тут мама проявила твердость. Не знаю, почему было так трудно выдержать ее взгляд. Казалось, будто она сменила свои глаза на чьи-то чужие. Наверное, именно так она смотрела на отца, когда они оставались вдвоем, а теперь этот безжалостный взгляд предназначался мне. Сегодня я думаю, что она чувствовала за собой вину, и старший сын должен был прочесть в ее глазах предупреждение: отныне для нее имеют значение лишь те упреки, которые она предъявит себе сама. Возможно, Раулито проболтался и от него она узнала, что я пытался прояснить обстоятельства смерти отца. Когда мы выходили из дому, чтобы ехать в крематорий, мама остановилась передо мной и сказала, что не сделала чего-то большего для спасения отца только потому, что не поняла всей серьезности положения.

– Есть еще вопросы?

– Нет, – ответил я.

– Вот и хорошо! – С этими словами она резко повернулась ко мне спиной.

14.

В последнее время я придаю некоторым своим поступкам отчетливо прощальный смысл. Например, говорю себе, что в последний раз наслаждаюсь абрикосами, в последний раз пересекаю Пласа-Майор, в последний раз иду на спектакль в Испанский театр. Я похож на человека, который переживает агонию, не имея ни малейших проблем со здоровьем. Возможно, раньше я был разумнее. Или расчетливее. Не знаю. Пожалуй, я почувствовал себя немного одиноким в этой жизни, особенно сейчас, когда мой лучший друг, мой единственный друг, решил попутешествовать.

И вот, прогуливаясь в ожидании, пока можно будет забрать Пепу из собачьей парикмахерской, я задержал взгляд на церкви иезуитов, и мне вдруг взбрело в голову, что хорошо бы перейти улицу, заглянуть туда и побеседовать с Христом с распятия, висящего на стене за алтарем. Уже много лет ноги не приводили меня в храм Божий.

Когда мы с Раулито были маленькими, в нашем доме о религии почти не говорили. Нас крестили, мы получили первое причастие – но это было чистой формальностью и делалось, чтобы доставить удовольствие дедушке с бабушкой с материнской стороны, довольно упертым в вопросах веры, да и не только веры. К тому же это избавляло нас от недоразумений в школе. Наши родители никогда не ходили к мессе, а значит, и мы с братом тоже. Как известно, дед Фаустино похвалялся своим атеизмом. Никиту мы не крестили. По твердому убеждению Амалии, мальчик сам должен был решить, когда подрастет, хочет он быть крещеным или нет. Меня же, если честно, эта проблема волновала мало.

Я сел на скамью в третьем ряду. Мне доводилось читать, что это было любимое место адмирала Карреро Бланко², ежедневно приходившего к мессе в ту же церковь. Возможно, здесь

² Луис Карреро Бланко (1904–1973) – испанский военный и политик, при Ф. Франко занимал важные государственные посты, в 1973 г. стал председателем правительства Испании. Был убит террористами ЭТА, когда возвращался из церкви.

он сидел и тем утром, когда взрыв бомбы подбросил его в воздух и отшвырнул в сторону. Не знаю только, где он сидел – справа или слева от центрального прохода.

Распятие здесь внушительных размеров. Я живо представляю себе, как адмирал обращает к нему свои мольбы: «Помоги мне, Господи, укрепить единство Испании, помоги остановить наступление коммунистов и масонов и уж только после этого призови меня к себе, аминь». Что ж, Господь призвал его к себе при участии ЭТА, а что касается единства Испании, то решение вопроса до сих пор пребывает, так сказать, в подвешенном состоянии. Что касается других его дел, то надо будет посмотреть, как оценят их люди и История.

На распятии в церкви Святого Франсиско Борджа голова у Христа повернута в сторону. Поэтому Он никак не мог посмотреть на меня. Я же нашептывал Ему примерно следующее: «Если Ты подашь мне какой-нибудь знак, я откажусь от задуманного. И у Тебя появится новый приверженец. Достаточно будет, если Ты повернешь в мою сторону лицо, подмигнешь, шевельнешь ногой – сделаешь что угодно, и тогда я не стану убивать себя».

Церковь уже начала заполняться прихожанами. Значит, приближался час какой-то службы. Я решил дать Христу на стене еще три минуты. И ни секундой больше. Но Он так и не подал мне никакого знака. Я вышел на улицу.

15.

Не проходит и дня без того, чтобы Хромой не отправил мне с мобильного фотографию, а то и пару, по которым можно судить, как он проводит свой отпуск в поселке под Кадисом. Он всегда держит телефон таким образом, что половину снимка занимает его собственная физиономия, а вторую – фон. Улыбающийся Хромой на пляже, улыбающийся Хромой у ряда белых надгробий, улыбающийся Хромой перед входом в здание, похожее на концертный зал. Я бы рад был попросить его больше не слать мне всех этих свидетельств своего счастья, но боюсь обидеть.

Помню тот день, когда мы с Амалией навестили его в больнице Грегорио Мараньона. Изуродованное тело закрывала простыня, он, еле живой, лежал под капельницей и сказал нам, что чувствует себя человеком, которому чертовски повезло. Теперь, находясь вне опасности, он дал волю обычному для него чувству юмора и позволил себе одну-две черных шуточки. Правда, был слегка разочарован тем, что его имя не попало в газеты. Я ответил откровенно, как и положено между друзьями: для этого ему нужно было оказаться в числе погибших. Амалия моей прямоты не поняла.

Мы знали, что он лишился правой ноги. Остальное не представляло серьезной опасности. Амалия при виде веселого лица нашего друга, которого не очень уважала, или совсем не уважала, решила, что он по совету психолога старался из всего с ним случившегося черпать положительную энергию. А по моему мнению, в тот день он находился под воздействием анальгетиков и еще не осознал, сколько времени и сил ему понадобится для выздоровления.

Потом я долго его не видел. Разумеется, мы с ним часто перезванивались, и наконец он сообщил, что вернулся домой, в квартиру на улице О'Донелла, которая в ту пору находилась не так близко от меня, как сейчас. Я пришел к нему точно в назначенный час и, увидев Хромого, порадовался за него. Брюки и ботинки хорошо скрывали протез. Посмеиваясь, он даже изобразил, будто пинает воображаемый мяч. Потом признался, что привыкнуть к протезу было трудно, но в конце концов он кое-как освоился с этой хренью. И теперь ходит так, что никто не замечает отсутствия у него ноги. Хромой даже рискнул снова сесть за руль. «Вот уж действительно счастливый человек», – подумал я. Он только расхохотался, когда я спросил, не собирается ли он поучаствовать в предстоящих Паралимпийских играх. Слыша его смех, я не мог даже предположить, что он лечится у психиатра. Наоборот, мне в голову пришло сравнение со слепцами, которые целыми днями улыбаются, словно благодарят кого-то за свое

несчастье. После стольких недель тяжких страданий он мог подниматься по лестнице, вдыхать запах травы, видеть небо и любимые им кладбищенские надгробия и очень быстро вернулся на работу в агентство недвижимости, хозяева которого сохранили для него место, – короче, мог продолжать жить, что, судя по всему, давало Хромому повод чувствовать себя счастливейшим человеком. Наверное, он чувствовал себя почти так же, как водитель грузовика, который вчера успел затормозить в нескольких метрах перед мостом Моранди в Генуе, прежде чем тот обрушился. Водитель видел внизу обломки моста, раздавленные машины, тела почти сорока погибших, а он остался здесь, наверху, живой и невредимый, и впереди у него было еще много лет жизни. Такому нельзя не радоваться, хотя прежде надо дожидаться, пока уйдет страх.

Вскоре я понял, что выставленное напоказ счастье Хромого – это всего лишь результат передышки, подаренной ему посттравматическим стрессовым расстройством. Его улыбки, как и те, что он демонстрировал на фотографиях, помогали скрыть гнездо отчаяния, невидимое со стороны.

16.

Было пять или десять минут девятого утра. Зазвонил телефон, и Амалия знаками велела мне пойти разбудить Николаса (для меня – Никиту), пока она возьмет трубку. Редко случалось, чтобы нам звонили так рано; но нельзя было исключить, что кто-то из коллег – ее или моих – не мог из-за пробок вовремя попасть на работу или кому-то срочно понадобилась наша помощь. Иначе говоря, мне и в голову не пришло, что звонок в столь неурочный час должен непременно предвещать трагедию. Правда, уже некоторое время издалека – и не только издалека – до нас доносились звуки сирен. Но меня это не напрягло, поскольку в таком большом городе, как наш, сирены полицейских машин или скорой помощи можно услышать очень часто.

А вот Амалия испугалась по-настоящему. Всякого рода предчувствия и страхи были у жены пунктиком; и сейчас шестое чувство уже готовило ее к серьезным неприятностям, поэтому она со всех ног бросилась с кухни к комоду, на котором стоял неумолкавший телефон. Из комнаты сына я слышал, как Амалия несколько раз повторила: «Понятно». Потом позвала меня. Я оставил Никиту еще немного понежиться в постели, а сам пошел на кухню. Сестра сообщила ей про теракт. Она именно так и сказала: «теракт», – и велела нам включить радио. По радио говорили уже не про один какой-то теракт, а про серию взрывов в разных местах; было точно известно, что есть погибшие, но о числе жертв, по словам диктора, судить было еще рано. Медики оказывали помощь пострадавшим, и так далее.

– Бедные! – воскликнула Амалия, и я тоже посочувствовал несчастным, не подозревая, что мой лучший друг был в их числе. Как, черт возьми, он попал в половине восьмого утра рабочего дня в пригородный поезд, ехавший из Алькалы? Когда время спустя мы навестили его в больнице, он в общих чертах рассказал нам свою историю.

На самом деле Хромой не слишком вдавался в детали, объясняя, как очутился в поезде линии М-11.

– Слава богу, что я не женат, – пошутил он.

Из чего я вывел: речь шла о любовном приключении, в чем ему не хотелось признаваться при Амалии. Я тотчас представил себя на его месте. Как бы сам я стал объяснять жене возвращение в Мадрид ранним утром после проведенной невесть где ночи – да еще на поезде, а не на собственной машине?

Хромой, которого я тогда еще так не называл, описал мне не слишком пристойные подробности только на следующий день, когда я явился к нему без Амалии. Он завел интрижку с некой женщиной, румынкой, жившей в Косладе. У нее было двое маленьких детей, прижитых от соотечественника, который ее бросил. То есть история вполне обычная, но Хромой держал ее в тайне, поскольку, по его словам, началась она совсем недавно, и он не был уверен, что

из нее выйдет что-то путное. Короче, речь шла о привлекательной женщине, которая из всех сил старалась обеспечить нормальную жизнь своим отпрыскам... И этот козел решил оказать финансовую поддержку бедной разрушенной семье в обмен на секс, а точнее, на «много секса», как он непременно добавлял.

Хромой допоздна задержался у своей румынки и остался у нее ночевать. Сев на поезд в семь с минутами, он мог до работы еще и забежать домой. К тому же, со смехом сказал он, утром успел снова позабавиться с румынкой, которая никогда ни в чем ему не отказывала.

Поезд подъезжал к вокзалу Аточа³. Хромой дремал. Но с определенного момента точную последовательность событий восстановить уже не мог. В памяти всплывали лишь бессвязные и мимолетные картины. И тут не было места ни иронии, ни шуткам – ему требовалось выплеснуть эти воспоминания, поделиться ими с кем-то, как советовал психолог, чтобы они не терзали его по ночам. В памяти у Хромого все смешалось: шквал огня, серый дым, запах горелого мяса, внезапная тишина. Речь его ускорялась, и я знал, что сейчас он прервет свой рассказ – на время, а возможно, и до следующей нашей встречи. Хромой был уверен, что в любом случае ему повезло. Он не знал, в какой части вагона взорвалась бомба. Точно помнил только одно: дыра в вагонном потолке находилась где-то в пяти-шести метрах от него. Помнил, как упал на пол между вырванных с корнем кресел, а рядом лежало неподвижное тело, и он пытался что-то сказать тому человеку, но с трудом слышал собственный голос, словно голос ему не принадлежал, а на самом деле у него лопнули барабанные перепонки. Он сказал лежавшему: «Погоди, сейчас я встану, а потом помогу встать тебе». И только тогда, пытаясь подняться, увидел, что вместо правой ноги из штанины торчит окровавленный обрубок. Двое незнакомцев вытащили его из вагона. В те секунды в голове у него была только одна мысль: выжить любой ценой. Сознания он ни на миг не терял.

17.

После обеда я поехал навестить маму. По дороге поставил диск с записями Ареты Франклин, только вчера скончавшейся от рака в Детройте. *Chain of Fools, I Say a Little Player, Respect* и другие чудесные песни. Я то и дело подпевал ей – в тех местах, где знал слова.

Из дому я выходил с таким чувством, будто продирался сквозь толстую стену из желатина. Стену лени, тоски и сонливости. Это не было связано напрямую с мамой, скорее с тем, что пансионат располагался довольно далеко от моего дома, на улице было жарко и надо было вывести машину из гаража. Чтобы порадовать маму, я взял с собой собаку. Пепа, которая в машине обычно надсадно дышит от страха, на сей раз сидела тихо, слушая великолепный голос Ареты Франклин.

Приехав в пансионат, я привязал собаку к садовой решетке. В свое время директриса поставила мне единственное условие – не позволять ей свободно бегать по территории. Я беру маму за руку, и мы медленно спускаемся в сад. Я что-то говорю про погоду. Про то, что мама хорошо выглядит. Задаю вопросы, не рассчитывая на ответы. Перечисляю все, что мы видим: лифт, земля, клумба. Она молчит. Просто позволяет себя вести. Сегодня у нее выдался спокойный день. Думаю, без каких-то препаратов дело не обошлось. Наверняка здесь накачивают стариков лекарствами, чтобы вели себя смирно. Лучше бы поднимали их почаще с постели. Сегодня меня раздражает мамин запах.

А вот газон выглядит очень ухоженным. В саду царит покой, много птиц, какая-то цикада стрекочет, сидя на стволе сосны, – исполняет свой неистовый концерт. Я довожу маму до ска-

³ 11 марта 2004 г. на мадридском вокзале Аточа в четырех пригородных поездах сработали девять взрывных устройств; погибли 193 человека, и были ранены 2050. Исполнителями терактов были исламисты, связанные с сетью «Аль-Каиды».

мейки в глубине, откуда можно наблюдать за машинами на стоянке. Почти все ближние к зданию скамейки заняты. К счастью, я нахожу одну свободную в тени.

Пепа, как всегда, ведет себя игриво и ласково. Едва завидев маму, она начинает рваться с поводка и радостно вилять хвостом. Я думал, что мама хотя бы погладит ее, но она отдергивает руку как от огня.

– Надо убить дьявола, – говорит она.

И сразу же просит принести ей фартук, в кармане которого, как ей кажется, лежат ножицы для рыбы. Потом еще пару раз повторяет, что надо убить дьявола.

Не получив ответной ласки, Пепа улеглась чуть поодаль под деревом и вроде бы перестала обращать внимание на меня, на маму, на мух, вообще на все. Я смотрю на часы, но так, чтобы мама этого не заметила. «Двадцать минут, – говорю я себе. – Еще двадцать минут, не больше, и я уйду». И тут замечаю на стоянке брата. У него совершенно седая голова. Я надеюсь, что он узнает мою машину, стоящую совсем близко от его собственной. Он ее узнал – и уехал.

18.

Сегодня по телевизору показывали даму пятидесяти семи лет, готовую рассказать *все*. Она, конечно, не заявила об этом прямо, но сразу было ясно, что ее просто распирало от желания излить душу. Дама принадлежала к числу тех, кто использует площадку перед камерой как исповедальню, а таких людей, между прочим, с каждым днем становится все больше. У меня было подозрение, что этой тетке важнее было покаяться и тем самым наказать себя на глазах у сотен тысяч зрителей, чем получить гонорар за участие в программе. Она старше меня на три года, тем не менее можно считать, что мы с ней принадлежим к одному поколению. То есть мы жили в один и тот же исторический период, получили схожее школьное воспитание, в юности были свидетелями того, как испустила дух диктатура. Ведущая сидела, закинув ногу на ногу, в короткой юбке и в туфлях на высоком каблуке и держала в руке табличку. Она сразу же взяла быка за рога, обращалась к своей гостье на «ты» и называла по имени, то есть вела себя так, словно они были сестрами, кузинами или соседками. Потом без обиняков сообщила, что пригласила ее, чтобы та рассказала про самоубийство сына. Но при этом возложила на даму всю ответственность за предстоящий разговор:

– Кармина, ты ведь пришла сюда, потому что сама захотела поделиться тем, что пережила, правда ведь?

Я вообразил, как через год в том же кресле будет сидеть Амалия, притворно изображая горе, а на самом деле зарабатывая на мне денежки. Наверное, так и надо, но какая это мерзость! Хотя меня сейчас интересовало только одно: я хотел узнать, каким способом парень покончил с собой. Однако дама, строго следуя сценарию или стараясь приковать к экрану сгоравших от любопытства идиотов, упорно обходила стороной этот главный вопрос. Мне хотелось швырнуть один тапок в ведущую, а другой – в Кармину. Впрочем, в Кармину я бы швырять тапок не стал, хотя, судя по всему, только об этом она и мечтала. Распухшие глаза, морщинки в углах глаз, заметные, несмотря на грим, и отекавшее лицо свидетельствовали о том, что она много плакала, не спала ночами, чувствовала себя одинокой. И тем не менее она была красивой. Увядшей, но красивой. Я на миг вообразил, как звоню ей по окончании программы и мы договариваемся вместе лечь в постель в моем или ее доме. Мы не прикоснемся друг к другу или в крайнем случае возьмемся за руки под одеялом. Станем по-дружески обсуждать разные будничные дела, и каждый примет дозу мединала, способную свалить с ног табун лошадей.

Отвечая на вопрос ведущей, Кармина, милая климатеричка Кармина, призналась, что предчувствовала гибель сына. Она заметила некоторые странности в его поведении. К тому же врач посоветовал ей не оставлять парня одного. Почему она вспоминает об этом с таким раздражением? Наверное, полагает, что не приняла все необходимые меры. Она достаточно

убедительно говорила о своем горе, о чувстве вины, о том, что следовало отвести сына к психиатру. Будь я уверен, что Амалия станет переживать после моей смерти что-то хотя бы слегка похожее на то, что сейчас переживает Кармина, я бы тотчас кинулся вниз с балкона. Кармина ни разу не упомянула отца мальчика. А я трепетал от наслаждения, от внезапного и почти физического наслаждения, глядя, как она шевелит губами, рассказывая о своих страданиях. Наконец Кармина все-таки сообщила, что ее сын умер от передозировки лоразепама. Я был разочарован. Честно сказать, я ожидал большего. И сразу выключил телевизор. Но еще долго не мог забыть губы Кармины. Меня охватило острое желание, я отправился в ванную и дрожил там с закрытыми глазами, воображая губы матери самоубийцы.

19.

Мы с Амалией остановились в номере «Гранд-отеля Алтис» в Лиссабоне, куда поехали, чтобы провести там выходные дни, положенные нам на Страстной неделе. Перед поездкой условились разделить все расходы поровну. Это была ее идея. Наш роман начался сравнительно недавно, но между нами уже действовал молчаливый уговор: она что-то предлагает, а я не возражаю. Никто не заставлял нас ему следовать. Со временем он постепенно выродился в право Амалии принимать решения по любым общим вопросам, не обсуждая их со мной – отчасти потому, что я и сам старался ни во что не вмешиваться, отчасти потому, что по характеру она склонна брать в свои руки бразды правления и к тому же всегда боялась, как бы мои неуклюжесть, безволие и невежество не породили новые проблемы или не усложнили те, что мы уже имели.

Амалия предложила – а значит, сама и выбрала – маршрут нашей поездки. Она же – поскольку я не проявлял ни малейшей инициативы и не выдвигал условий – заказала билеты и забронировала номер в гостинице. На самом деле всемогущая Амалия, мудрая Амалия, оборотистая Амалия занималась всем этим, во-первых, потому что возлагала огромные надежды на нашу совместную поездку за границу; во-вторых, потому что была влюблена в меня как девчонка, хотя сегодня мне кажется, что влюблена она была не столько в мужчину, который был рядом, держал ее за руку и танцевал с ней, сколько в некий идеальный, придуманный ею образ. А я, привыкнув к обществу Агеды, девушки простой, доброй и лишенной внешней привлекательности, цепенел от восторга и даже с долей страха воспринимал деловую хватку красивой и чувственной Амалии, энергию, с какой она бралась за любое дело, и ее неодолимую страсть все исполнять хорошо. Я ни на миг не задумывался над последствиями, которыми эти качества однажды могут обернуться против меня же самого.

На Лиссабон опустилась ночь. Мы с Амалией поужинали в районе Алфама в ресторане, название которого я забыл, хотя хорошо помню обстановку и любезность официанта. Мы были довольны, хотя нет, не просто довольны, мы пребывали в эйфории от красного вина, нежных прикосновений и сказанных шепотом ласковых слов, а откуда-то из глубины зала наш слух улаждал мягкий голос певицы, исполнявшей фаду. В гостиницу мы вернулись уже после полуночи, и я никогда не видел, чтобы женщина так быстро скидывала с себя одежду, словно та обжигала ей тело. Амалия разделась сама, раздела меня и в порыве страсти и нетерпения взяла мой член руками, потом губами – не тратя время на любовную игру. Она никогда – ни в то время, ни потом, ни много позже – не отличалась откровенностью в своих сексуальных желаниях, особенно со мной или в моем присутствии, и вела себя скорее сдержанно, не будучи ни в коей мере холодной – чего не было, того не было. Внутри у нее действовал некий тормоз и жила стыдливость, в которых, на мой взгляд, было больше расчета и осторожности, нежели робости или стеснительности. Хотя, возможно, это просто играло воспитательную роль. Но в ту ночь в Лиссабоне – не знаю, под воздействием ли вина и фаду или внезапных метаморфоз

в гормонах, – у нее вроде бы открылись внутренние шлюзы, позволив выплеснуться наружу бурному потоку чувственности.

Я ощущаю прикосновение ее длинных волос к внутренней стороне моих бедер. Амалия стоит на коленях у меня между ног. Она изо всех сил старается доставить мне удовольствие. Я вижу ее гладкий лоб, изгиб спины, покачивающуюся в ухе золотую серьгу, вижу, как губы ритмично и настойчиво скользят вверх-вниз по моему напряженному члену. И вдруг я начинаю чувствовать себя ее должником. Я почти жду, чтобы она побыстрее остановилась, потому что хочу вернуть ей долг и боюсь, как бы она не сочла меня эгоистом. Уже давно испарился аромат духов, которыми она капнула на себя в самом начале вечера. Сейчас я ощущаю лишь мощный запах возбуждения и женской плоти, доводящий меня до иступления. Амалия лижет, сосет мой прибор, пытается ввести кончик языка под складку крайней плоти. Я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. И говорю ей, что вот-вот кончу. Она смотрит на меня серьезно, потом начинает покусывать мой вздыбившийся член – еще и еще – и в первый и единственный раз за всю историю наших отношений соглашается принять в рот мое извергающееся семя.

Уже на следующий день после возвращения я по настоянию Амалии встретился с Агедой, чтобы сообщить ей, что очень сожалею, но в моей жизни появилась другая женщина. Должен признаться, я отчаянно трусил и поэтому явился на свидание с заранее заученной фразой. Наш разговор продлился минуту или полторы, не дольше. Амалия ждала меня на соседней улице, сидя в машине, остановленной во втором ряду. Агеда пожелала мне большого счастья. И настояла, чтобы я принял от нее в подарок книгу.

У Агеды дрожала нижняя губа. Я решительно распрощался с ней, чтобы не видеть ее слез. А книгу положил на ступеньку перед подъездом какого-то дома, даже не сняв обертки. Я подумал, что Амалии будет не слишком приятно, если я вернусь к ней с таким подарком.

20.

Как-то вечером, после прогулки с Пепой, я нашел в почтовом ящике второе анонимное послание. Судя по всему, его сунули туда совсем недавно, во всяком случае, еще полчаса назад, выходя на улицу, я ничего не заметил. На сей раз текст, такой же короткий и без орфографических ошибок, как и полученный месяцем раньше, был набран на компьютере. Новую записку я тоже не сохранил, поскольку не понял, что она продолжает серию, начатую первой. Там говорилось о том, что я лучше обхожусь со своей собакой, чем с женой; хотя, если рассуждать логично, это вовсе не значило, что с женой я обходился плохо, просто не так хорошо, как с собакой. Точных слов сейчас не припомню, но смысл был именно такой. Вероятно, кто-то намекал на наши семейные ссоры, с каждым разом все более частые. В самом конце автор записки называл меня злым. Прочитав анонимку, я огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что никто из соседей тайком не наблюдал за мной.

Я поднялся домой, раздумывая над вопросом: неужели я и вправду такой уж злой? Сам я себя злым не считал, хотя, скорее всего, ни один негодяй не назовет себя негодяем. Скажу откровенно, что уже успел убедиться в своей неспособности угодить жене. Наверное, я был никчемным мужем, но при этом никто не мог бы обвинить меня в зловредности. Наверное, я был еще и никчемным отцом. И никчемным учителем. И никчемным сыном для своих родителей. И никчемным братом для своего брата.

Пожалуй, единственное, что у меня получается хорошо, – это отношения с Пепой. Ей вроде бы не на что жаловаться, хотя кто знает, что бы она сказала, умей говорить.

21.

Я чуть не заснул, сидя на скамейке в парке «Ретиро». Жара, безоблачное небо, никого вокруг. С закрытыми глазами я пытался представить, как мог бы повеситься на толстой ветке индийского каштана, в тени которого стояла скамейка. Залезть на дерево труда не составит. По словам Хромого, который кичится тем, что знает о самоубийствах абсолютно все, некоторые мужчины в роковой момент извергают семя. Признаюсь, меня сильно привлекает мысль о наслаждении в самый миг смерти. Повеситься – это дешево, быстро и просто. Хорошо было бы еще добавить: и может доставить удовольствие. Висельник обычно выглядит не слишком фотогенично: вываленный язык, посиневшее лицо. Но если уж судить с такой точки зрения, то куда более жутким бывает вид человека, бросившегося вниз с виадука Сеговии.

Подобные рассуждения навели меня на мысль составить в уме список людей, которые через год станут оплакивать мою смерть.

Начнем с мамы. Мама попросту ни о чем не узнает. Когда я навещаю ее в пансионате, она не понимает, кто к ней пришел. Если раньше принимала меня за кого-то из obsługi, то сейчас и на это уже не способна.

Амалия горьких слез лить не станет, а поспешит проникнуть в мою в квартиру, чтобы порыться в ящиках. Ключей у нее нет, но по опыту знаю, что такая мелочь ее не остановит. Она постарается оценить мое финансовое положение и извлечь из этого пользу для себя.

Хорошо представляю себе Никиту. Меня бы не удивило, если бы он явился ко мне домой вместе со всей своей шайкой. Ключей у него тоже нет, но эти амбалы, да еще с опытом «окупас», справятся с любой дверью. Так и вижу, как они по дешевке распродают мое добро, чтобы кутнуть на полученные деньги. Никиту вряд ли сильно интересуют документы и бумаги, другое дело – мебель или компьютер с мобильником, то есть то, что можно легко обратить в монеты.

Рауль, если у него будет время, заглянет на минутку в крематорий, чтобы шепотом высказать на ухо покойнику очередную свою обиду и попросить Господа отправить меня напрямую в ад.

Хромой, если только не покончит с собой заодно со мной, на что не раз намекал, скорее всего, напьется в баре Альфонсо и с пьяных глаз станет говорить, что я был хорошим мужиком и он будет без меня скучать. А через пару дней и думать обо мне забудет.

Кто-нибудь из коллег по школе спросит в учительской: «Не знаете, у него с психикой все было в порядке?»

Только одна Пепа испытает настоящее горе, во всяком случае, так мне хочется думать. Но, устав меня ждать, пожалуй, побежит за первым же, кто ее приласкает. И будет вилять хвостом, благодарная и довольная.

Короче, плакать обо мне никто не станет.

22.

Амалия первой заметила, что с головой у мамы что-то не так. И часто предлагала обсудить возможность поместить ее в пансионат для престарелых, а также, не откладывая в долгий ящик, решить вопросы, связанные с завещанием и с имуществом, а то и признать свекровь через суд недееспособной. В дни, когда обстановка у нас в доме была более чем беспокойной, моя жена то и дело возвращалась к этой теме, что доводило меня до белого каления. Я видел в ее поведении явную провокацию, она ждала, что я повышу голос, скажу что-нибудь грубое – короче, оскорблю ее.

Разгадать тактику жены было нетрудно, и я изо всех сил старался не угодить в гнусную ловушку, для чего прибегал к испытанным методам: глубоко дышал, считал в уме до пяти или десяти. Говорил себе: «Терпи, ничего не отвечай», – но все было напрасно, и в конце концов у меня вырывались слова, которые произносить не следовало. Амалия с победным видом изображала из себя несчастную обиженную женщину и закатывала сцены с потоками слез, что у нее всегда прекрасно получалось. Вообще-то ей легко удавалось довести меня до бешенства – достаточно было сказать что-то плохое про мою мать, с которой они всегда были на ножах.

Больно, конечно, это признавать, но в том, что касалось душевного расстройства све-крови, Амалия была права. И ей удалось сломить мое сопротивление в тот день, когда после какого-то семейного праздника мама вдруг поцеловала меня в губы, а потом без малейшего стеснения при всех положила руку мне на ширинку. Я резко отпрянул, испытав настоящий шок. Но промолчал. Интересно, какая сцена из прошлого в те минуты ожила у нее в голове. Вне всякого сомнения, она приняла меня за какого-то другого мужчину, возможно, спутала с папой той поры, когда они были женихом и невестой, или с пенсионером-стоматологом, с которым познакомилась, уже овдовев. На лицах Рауля и невестки вспыхнуло изумление, а я поймал взгляд стоявшего в глубине комнаты Никиты. Кажется, я угадал в этом взгляде ядовитую радость, словно отсутствовавшая Амалия, с которой мы только что развелись, одолжила ему соответствующую гримасу. Но даже после того случая я не мог всерьез подумать о пансионате. Мы с Раулем решили нанять для мамы домашнюю сиделку – на три дня в неделю.

Я знал, что, пока в голове у нее сохраняется хотя бы луч разума, она станет цепляться за квартиру, где прошла вся ее жизнь, как моллюск цепляется за подводную скалу. На самом деле квартиру она уже подарила нам с Раулем, не слишком понимая, под чем ставит подпись, а мы с братом, проведя, разумеется, операцию в тайне, сумели еще и вдвое снизить налог на дарение. Как-то раз мама сказала: «Отсюда вы вытащите меня только силой». И добавила, что, если мы вздумаем отправить ее в заведение, которое она с презрительной гримасой назвала «свинарником для стариков», она наложит на себя руки. Мама желала продолжать жить по своему хотению, чтобы никто не назначал ей час обеда или час отхода ко сну и пробуждения. «Каждому приходит пора умирать? Хорошо, вот я и умру спокойно у себя дома».

Она так никогда и не смирилась со своей старостью. В принципе, я не вижу в этом ничего плохого и считаю признаком особой жизненной энергии. Всякий человек тешит себя теми или иными иллюзиями. Сначала она перестала узнавать свое отражение в зеркале. Сиделка, обходительная и прилежная колумбийка, изо всех сил старалась поднять ей настроение, осыпая комплиментами. Парикмахерша закрашивала ей седину. Под макияжем были не так заметны морщины и пигментные пятна. А когда все эти хитрости перестали выполнять свою роль, угасающий разум уже не позволял ей замечать старческие изменения.

В пору моего развода с женой мама еще вела себя достаточно разумно, хотя иногда вдруг проявлялись какие-то тревожные признаки (забывчивость, рассеянность, непоследовательность в разговоре). Через несколько лет, когда стало понятно, что обслуживать себя она больше не в состоянии, мысль о пансионате отверг Рауль. Он бросил мне в лицо, что я хочу избавиться от мамы, как от «старой мебели». Мне стоило труда сдержаться и не двинуть кулаком по его толстой, искаженной ненавистью глупой роже.

– Хорошо, – сказал я, – значит, ты готов взять всю заботу о ней на себя? Будешь каждый день ходить к ней, менять памперсы и так далее?

Но он не сдался, пока не получил на руки заключение невролога. Хотя и без того знал, что помощи приходящей сиделки уже недостаточно: за мамой надо присматривать двадцать четыре часа в сутки с понедельника по воскресенье.

И только тогда у меня зародилось подозрение, что его отказ поместить маму в пансионат был всего лишь способом отсрочить день, когда надо будет платить свою часть за ее там содержание. Судя по всему, они с Марией Эленой уже успели навести справки. Да, действительно,

стоило это довольно дорого. Они обсудили разные возможности, в том числе договор о пожизненной ренте, обратную ипотеку и много чего еще, хотя не учли одно обстоятельство: мама не могла ни понять, ни подписать нужные документы. Мы с братом единодушно отказались от мысли решить вопрос, сдавая ее квартиру, – слишком это было хлопотно. Мы тщательно все просчитали. Продав квартиру и добавив к полученной сумме то, что мама успела скопить за свою жизнь (а скопила она порядочно), мы сможем от двенадцати до пятнадцати лет оплачивать ее пребывание во вполне достойном заведении. Но, если мама проживет больше девяноста лет, нам это будет уже не по карману. Если же ей осталось жить всего три, четыре или даже пять лет, мы с Раулем получим солидную часть наследства.

Итак, мы договорились продать родительскую квартиру, где прошли наши детство и юность, квартиру, с которой было связано столько воспоминаний, хороших и плохих моментов, и поместить маму доживать последние годы в чистый и прилично оборудованный пансионат для престарелых, где она получит хороший уход. С помощью Хромого, отказавшегося взять с нас комиссионные, нам удалось быстро и весьма выгодно повернуть эту сделку.

23.

Ночью мне приснилась мама – скорее всего, из-за воспоминаний, которые я записал вчера перед тем, как лечь в постель. Нельзя сказать, чтобы сон был приятным.

Я твердо решил: не хочу покорно сносить унижительный процесс старения, надо собрать волю в кулак, забыть про страх и прямо сказать себе: «Все, час настал, с меня хватит». Старость, она очень печальна. Ужасно сознавать, что на последнем отрезке пути тебя неизбежно сопровождают немощь, болезни и старческие запахи. Утром я встал в отвратительном настроении. Я редко плачу, но тут едва сдерживал слезы. Чтобы прийти в себя и повысить уровень эндорфинов, «гормонов счастья», я направился в кондитерскую «Сан Хинес» в Проспериаде, выпил чашку шоколада с чуррос, полистал газеты (кажется, правительство намерено принять постановление об эксгумации останков Франко в Долине павших) и занялся sudoku.

Завтрак привел меня в чувство, но не избавил от мрачных мыслей, правда, при полном желудке их было проще выносить. С годами я пришел к убеждению, что с папой случилось страшное несчастье – он умер слишком рано, в возрасте пятидесяти лет, когда у многих впереди еще маячит немалый кусок жизни. Но теперь, когда я сам определил, сколько времени мне осталось провести на этой земле, мнение мое изменилось. При том образе жизни, который ведут такие люди, как отец или я сам, пятьдесят лет кажутся мне достаточным сроком. То, чего судьба не дала человеку до этого возраста, он уже вряд ли получит, даже протянув еще пятьдесят.

Другое дело, если ты выполняешь какую-то важную миссию на благо соотечественников, или проводишь исследования, способные спасти чужие жизни, или ты выдающийся и активно работающий художник, или, скажем, тебе служат утешением и тебя радуют дети и внуки. Однако, если ты не приносишь чего-то ценного и полезного человечеству, а просто на протяжении пятидесяти лет напрасно потребляешь кислород нашей планеты, этого срока тебе более чем достаточно.

Чем доживать, как мама, лучше уж умереть от инсульта или внезапного сердечного приступа.

Сразу после того, как ее привезли в дом престарелых, я спросил, когда мы остались вдвоем, не хочет ли она, чтобы я вызвал скорую помощь. Конечно, это была с моей стороны нехитрая уловка, один из последних, а вернее, последний способ достучаться до ее сознания, до того небольшого, что там еще могло сохраниться, и узнать правду о случившемся у нас дома той далекой ночью. Но ничего не добился – в голове у нее царил мрак. Как оказалось, она даже не помнит, что ее муж умер. А что с ним такое случилось? Сбила машина? Я заглянул в глубину

маминых глаз. И не обнаружил там и тени притворства. Складывалось впечатление, что, хотя у мамы оставались прежние черты лица, прежнее худенькое тело, сгорбленная спина и просто-душный пристальный взгляд, мы навсегда потеряли ее. Эта старушка не была моей матерью, в лучшем случае – оболочкой моей бывшей матери, высохшей и пустой куколкой человеческой бабочки, которая уже давно куда-то улетела и вот-вот завершит свой жизненный цикл.

24.

На мой тогдашний взгляд, отец был человеком закрытым, со своей отдельной жизнью, недостижимой для остальных членов семьи. Сейчас я думаю, что такое впечатление было ошибочным или объяснялось скудостью моего воображения. Я ведь тоже никогда не распахивал двери в свой внутренний мир перед Никитой – прежде всего, чтобы защитить сына, чтобы не смущать его никчемными мелочами, копившимися у меня в душе. Он ведь вырос не слишком понятливым. Но главным образом, да, главным образом, чтобы он потом не наболтал лишнего своей матери.

В раннем детстве я обожал отца. Но спроси меня кто, чем я в нем так восхищался, не сумел бы этого объяснить. Просто сказал бы, что он высокий и красивый, что у него мощный голос и многие его побаиваются. Правда, восхищался я им больше издали. С расстояния в пять-шесть метров или когда, высунувшись в окно, следил за удалявшимся по улице мужчиной в пиджаке с кожаными заплатками на локтях и с профессорским портфелем в руке. Если же он был рядом, я терял всякое желание стать когда-нибудь таким, как он. Его запах, запах его тела, а также одежды и прочих вещей не был особенно резким или неприятным, но он сохранялся в доме даже в отсутствие отца и вызывал у меня скрытый протест. Не нравились мне и его желтоватые, как у заядлого курильщика, усы.

Мое отношение к отцу улучшилось после его смерти. Я хочу сказать, что время от времени охотно призываю его в свои сновидения и воспоминания, и как мне кажется, он тоже не без удовольствия является ко мне. В моем воображении мы с ним встречаемся взрослыми людьми – двое мужчин одного возраста и одного роста – и без конца шутим, обнимаемся, делимся нашими переживаниями. А еще прорву времени посвящаем каждый своей женщине, заставляя их то и дело рожать, и жестоко ругаем Раулито, этого толстяка, который и в пятьдесят два года упорно продолжает считать маму своей собственностью.

Однажды ночью у меня случилась ужасная встреча с отцом в районе Маласанья, в баре, где обычно собирались студенты. Я пришел туда со своей всегдашней компанией. Было часов двенадцать, может, чуть позже. Музыка гремела на полную мощь и мешала разговорам. Я в темном углу целовался и обжимался с однокурсницей. Мы приняли амфетамин, который она принесла с собой в сумочке, и спокойноенько целовались, обмениваясь микробами. Тут кто-то ткнул меня пальцем в спину. Приятель шепнул мне на ухо, что у барной стойки видел мужчину, который едва держится на ногах и очень похож на моего папашу. Я скосил глаза в ту сторону и сразу узнал желтоватые усы. Совершенно пьяный отец спорил с официантом. Я мог бы так и оставаться в полутьме, и он бы меня не заметил. Но моя подруга сразу поняла, что к чему:

– Это ведь твой отец, да? Ты должен ему помочь.

Почувствовав руку на своем плече, он обернулся, решив, что кто-то лезет в драку, но узнал меня и сразу успокоился. Правда, задал глупый вопрос: что я тут делаю? – хотя бар был битком набит молодежью и единственный, кто выглядел тут нелепо, был он сам. Я знаками дал понять официантам, что сейчас займусь этим сеньором и выведу его на улицу. У дверей я остановил такси, загородив отца спиной, чтобы шофер не увидел его, не понял, в каком тот состоянии, и не заметил мокрого пятна на брюках. Всю дорогу отец последними словами крыл социалистическое правительство, а заодно и оппозицию, и короля Хуана Карлоса, и Рейгана, и всех, кого только мог припомнить, выдавая свой бессвязный монолог. Когда мы наконец

вышли у нашего подъезда, он предложил мне прогуляться по кварталу. Я ответил, что если он намерен заглянуть еще в какой-нибудь бар, то я с ним не пойду. Он разозлился: какой еще бар? Ему совершенно необходимо подышать свежим воздухом, а то голова кружится. И вообще, судя по всему, ему тайком подлили чего-то в стакан. Он хотел убедить меня, что вовсе не пьян.

Ночь была свежей, прохожих почти не видно, и мы какое-то время бродили по окрестным улицам. Папа говорил и говорил, я же шел рядом, не раскрывая рта. Он жаловался, что так и не сумел стать настоящим писателем, а я думал только о том, что упустил случай перепахнуться с красивой девчонкой. У освещенной витрины я тайком глянул на часы. Меня все еще не оставляла надежда отделаться от отца и вернуться в Маласанью. По его настоянию мы сели на скамейку. Я предупредил, что она мокрая, но ему было все равно.

Неожиданно отец накинулся на меня: мое молчание он воспринял как неуважение к себе.

– Хорош выкобениваться, захочу – переломлю тебя, как батон хлеба.

– Ты мне угрожаешь?

Он не ответил. Потом опять принялся жаловаться. Сказал, что я даже вообразить себе не могу, как его обижает мое поведение; и тут он попал в самую точку, поскольку я в этом смысле вообще ничего себе не воображал. Он хотел бы получать от меня хоть каплю сердечности и поддержки, чтобы я принимал его таким, какой он есть, именно от меня, а не от мамы и Рау-литы, этих «воинствующих эгоистов». А я за все двадцать лет своего существования ни разу не сказал ему «спасибо». Неужели в моем словаре это слово напрочь отсутствует? Выходит, я ничем не отличаюсь от остальных членов нашей семьи, которую он винил во всех своих неудачах. Семейные обязанности не позволили ему заняться серьезными научными исследованиями, уехать с этой целью в какой-нибудь зарубежный университет, писать романы или целиком отдаться своей юношеской страсти – легкой атлетике. По его словам, он не был обделен талантами и получил хорошую подготовку, но делал не то, что ему нравилось, а вынужден был тянуть лямку семейных забот, думая о том, чтобы наши животы были набиты, и обеспечивать нам тот уровень жизни, каким мы пользуемся. И что? В итоге никто не испытывает к нему благодарности.

Я снова посмотрел на отца. И в скудном свете уличного фонаря увидел, какой он слабый и удрученный. Мне осталось лишь от души порадоваться, что я не нахожусь сейчас в его шкуре.

– Чего смотришь? – спросил он с вызовом.

От него пахло алкоголем. Во взгляде вспыхивали безумные искры. Не помню, чтобы когда-нибудь раньше оказывался с ним вот так лицом к лицу, да и потом ничего подобного больше уже не повторялось (и времени на это не осталось, так как он умер несколько месяцев спустя), но в тот миг я не сдержался:

– Папа, в баре я был с девушкой, которую наверняка затащил бы в койку, но бросил свою подружку, чтобы не дать официантам избить тебя.

Он повернулся ко мне и ответил, против ожидания, без всякой злобы:

– Вот именно это и происходит со мной уже бог знает сколько лет по вашей вине – я никогда не мог позволить себе заняться тем, чего больше всего хотел. Может, ты наконец-то меня поймешь.

На следующий день ближе к вечеру я как можно тактичнее попросил его вернуть мне деньги за такси. Он вышел из себя. Сказал, что я главное разочарование в его жизни. Господи, как он только меня не обзывал! Эгоист, жалкий скупердяй! Неужели я не понимаю, что он оплачивает мою учебу и мои гулянки, и если бы не его щедрость, я ходил бы голым и босым. С этими словами отец в ярости вытащил бумажку в тысячу песет, скомкал и швырнул мне под ноги.

25.

Пару дней спустя я увидел на факультете ту девушку из бара в Маласанье. И тотчас двинулся в ее сторону, нацепив на физиономию лучшую из своих улыбок. И что же? Она опустила глаза и быстро повернула назад, явно не желая встречаться со мной. Не может такого быть! Она что, вообразила, будто я намерен прямо сейчас продолжить то, что в баре мы с ней прервали на полпути? Мне хотелось всего лишь по-дружески объяснить ей, что на самом деле произошло: я вроде бы оставил ее с носом, хотя она сама отправила меня на помощь отцу. И плевать, что у нее есть парень, как я позднее узнал. Неужели она боялась, что я не сумею держать язык за зубами? А сейчас я просто заявляю о своем праве вести себя как подобает настоящему мужчине. Парню двадцать лет, играет музыка, поздняя ночь, он выпил лишнего, добавил таблетку и нашел другое тело, тоже желавшее получить удовольствие. Где здесь вина или преступление? К тому же дело зашло не слишком далеко: ну полизались чуток, ну пощупали друг у дружки то, что выпирало наружу. Не исключаю, что ей вдобавок хотелось наставить тому парню рога, чтобы отомстить за какую-то обиду. А может, она рассудила, что нельзя ждать ничего хорошего от сына скандального пьянчуги? Это последнее объяснение сегодня кажется мне наиболее верным. Девушка тогда была из леваков или говорила, что из леваков, и, как все мы, ходила на демонстрации, а это давало на факультете что-то вроде охранной грамоты – совсем как в прошлые века, когда, чтобы избежать неприятностей с Инквизицией, человек при любой возможности спешил показать свою приверженность истинной вере. Все мы, студенты, были леваками, за исключением двух-трех пижонов, которых мы откровенно презирали, и относились к ним как к мерзким тварям. В том возрасте принадлежность к правым считалась страшным несчастьем, не знаю, как лучше сказать, но это можно было сравнить с каким-то физическим уродством или с прыщами на лице. Впрочем, хватит об этом. Важно, что, получив диплом, я потерял из виду девушку, вдруг начавшую избегать меня, сменил друзей, нашел работу и профукал собственную жизнь, как мой отец профукал свою. Прошли годы, которые я проматывал без толку и смысла, и в один прекрасный день увидел на экране телевизора и узнал ту самую однокурсницу – во время слушания отчета правительства. Теперь, став блондинкой с прической, явно сделанной в парикмахерской, она заседала в Конгрессе депутатов на скамье консерваторов. Всякий раз, когда камера показывала ту часть амфитеатра, я искал ее взглядом: она горячо поддерживала аплодисментами выступления своих коллег. А во время очередных телевизионных дебатов я наблюдал, как она, желая задать вопрос, подняла руку. Руку, украшенную драгоценностями. Руку, которая однажды – кто знает? – станет управлять каким-нибудь министерством или государственным учреждением и подписывать важные документы. Руку, которая три десятка лет тому назад ночью в баре в Маласанье хватала меня за яйца.

26.

Если говорить об историях, которые я читаю, смотрю на экране или от кого-то слышу, то всю жизнь на меня наводили страшную тоску открытые финалы. Остается только пожать плечами, когда читателю или зрителю предлагается вообразить, угадать или досочинить развязку, скaredно утаенную от них романом или фильмом. Это все равно что в ресторане под конец обеда лишить клиента десерта под тем предлогом, что ему будет куда приятнее выбрать и попробовать десерт мысленно. Ну уж нет! Я плачу деньги за то, чтобы мне рассказали всю историю по порядку и целиком – от начала до конца. Вот почему я рискнул спросить Хромого время спустя после его выписки из больницы, продолжает ли он навещать свою румынку в Косладе. Я счел такой вопрос логичным, поскольку протез не мешал ему передвигаться и не являлся препятствием для секса. К тому же он и сам нередко отпускал шутки по поводу своей искус-

ственной ноги. Подобное легкое отношение снижало драматизм ситуации, а мне позволяло без особого стеснения расспрашивать друга о физических и психологических последствиях пережитого им теракта. Так вот, я заметил, что он ни словом не упоминает румынку из Кослады. Ему нравилось во всех красках расписывать взрыв в поезде, разбросанные вокруг тела, запах горелого мяса, извлечение раненых из-под обломков, тяжелые дни в больнице и бесконечные подробности, связанные с процессом выздоровления. Но про прекрасную румынку он упорно молчал, так что я сам спросил про нее, решив узнать продолжение этой истории. Лицо моего друга исказилось досадливой гримасой, какое-то время он ничего не отвечал, отведя взгляд в сторону и погрузившись в неведомые мне мысли. Хромой был твердо уверен, что румынка, как бы ни старалась, не сможет его отыскать, поскольку он так и не сообщил ей ни своего адреса, ни своего настоящего имени. Ей было известно, что мужчина, оказывавший ей материальную поддержку в обмен на секс – «много секса!» – сел на один из тех поездов, которые были взорваны террористами. Не получая от него столько времени никаких известий, она наверняка заключила, что он погиб. По прошествии нескольких месяцев Хромой решил возобновить свои визиты. Вымытый и надушенный, он сел на такси и поехал на вокзал Аточа. Но едва вышел из машины в нескольких метрах от входа, как близость того места, где он потерял ногу, а многие другие потеряли жизни, вызвала у него острую тревогу, которая, когда он зашел в здание вокзала, переросла в приступ страха. Сердце колотилось так сильно, что пришлось прислониться к стене, по спине ручьями тек пот, было трудно дышать. Какой-то незнакомец предложил ему помощь. И Хромой вышел на улицу, цепляясь за его руку. Неделя шла за неделей. Нельзя было исключить, что румынка нашла другого мужчину, готового ее содержать – в обмен на секс, много секса. С другой стороны, признался Хромой, ему было бы неловко показывать прекрасной румынке свой протез. Короче, он отказался от мысли когда-нибудь снова позвонить в ее дверь. А я между тем подумал, что он вполне мог бы добраться до Кослады и на своей машине. Почему он этого не сделал? Возможно, машина была сломана. Возможно, он не был уверен, что выдержит за рулем более долгий, чем от дома до работы, путь. Возможно, не хотел появляться в Косладе на автомобиле, по номерам которого легко вычислить имя владельца (да и его шеф, насколько мне известно, живет где-то в той зоне). Я так и не решился расспросить обо всем этом Хромого, из-за чего немного злюсь на себя, ведь история осталась незавершенной.

27.

Вчера вечером Хромой вернулся из отпуска. Сегодня утром он позвонил мне в такое время, что, будь у него в голове хоть одна извилина, сообразил бы, что я еще не проснулся. Я уловил в его голосе тревогу. Мы договорились вместе позавтракать в кафе. При этом он весьма настойчиво попросил меня прежде зайти к нему домой. Загадка.

Мой друг загорел и выглядел вполне здоровым, но лицо было далеко не таким веселым, как на фотографиях, которые он в последнее время посылал мне со своего мобильного. Вместо ответа на вопрос, какая муха его укусила, он быстро спустил брюки. На внутренней стороне правого бедра я увидел неумело приклеенный пластырь. Дело явно обошлось без профессиональной помощи. Он аккуратно снял пластырь, встав поближе к лампе. Под пластырем обнаружилось отверстие, окруженное покрасневшей кожей и похожее на след от пули. Трудно было сказать, нагноилась рана или нет, поскольку она была обильно покрыта йодированной мазью. Что я про это думаю? Думаю, что ему нужно пойти к врачу. Да, то же самое мне посоветовал аптекарь в той деревне, где я проводил отпуск, сказал Хромой.

Потом он начал выдвигать разные предположения, желая услышать мое мнение о каждом из них. Я ответил, что прежде всего хотел бы узнать, когда и при каких обстоятельствах у него появилась эта штука, которой мы пока не можем придумать названия. Все очень просто: он отдыхал уже неделю, когда утром почувствовал легкий зуд, обнаружил на бедре красное

пятнышко и решил, что его укусил комар. Помазал уксусом, чтобы меньше щипало, но это не помогло. Через день в центре красного пятнышка стало образовываться отверстие в виде кратера, и начал выделяться гной, пока отверстие не достигло нынешних размеров. Я спросил, болит ли оно. Сначала зудело довольно чувствительно, ответил Хромой, потом зуд поутих, и теперь он практически ничего не чувствует. Мой друг не исключал, что его укусило какое-то насекомое, необязательно комар, может, паук или паразит вроде клопа, а потом во сне Хромой расчесал место укуса, и рана воспалилась. Возможно и другое объяснение: кожу ему прожгло неведомое ядовитое вещество. Помнится, накануне появления первых симптомов он обедал в пляжной забегаловке – съел картошку с соусом айоли и большое количество жареной рыбы и кальмаров. Не исключал Хромой и какого-нибудь венерического заболевания, подхваченного во время визитов в тамошний бордель. И наконец – рак. А что бы я, к примеру, сделал на его месте? Мой ответ: немедленно сходил бы в травмпункт. И тогда он посмотрел на меня взглядом побитой собаки и признался, что боится.

Позднее, во время завтрака, когда Пепа спокойно лежала под нашим столиком, Хромой вдруг поинтересовался, не отказался ли я от своего плана. Прежде чем ответить, я посмотрел ему в глаза. Он прекрасно знает, что я не выношу шуток на эту тему. И так как, по-моему, он и не думал шутить, я ответил: нет, разумеется, не отказался, в отличие от него самого, ведь он, насколько я вижу, очень привязан к жизни.

– Все зависит от моей раны, – заявил он. – Если врач скажет что-нибудь плохое, помашу вам всем ручкой.

28.

Я уже давно не гулял по берегу водохранилища Вальмайор. Меня преследуют воспоминания о том дне, когда мы отправились туда на пикник вдвоем – с нашим сыном, которому было четыре года и который в тот раз чуть не утонул. Амалия успела выловить его, когда мальчишка уже скрылся под водой. Сам же я ничего даже не заметил, и в итоге на меня вылился такой, мягко выражаясь, поток упреков, какого я не слышал за всю нашу не слишком счастливую семейную жизнь.

Наконец-то я снова вдыхал свежий воздух и деревенские запахи, гуляя под небом с редкими облаками. К тому же было не слишком жарко. Я бросал Пепе резиновый мячик и с огромным удовольствием следил, как она бежит за ним по песку. Иногда животные не умеют рассчитывать свои силы. Собака будет снова и снова приносить хозяину мячик, пока у нее не разорвется сердце. Я сел в тень под деревом, чтобы дать ей отдохнуть. Она лежала, высунув язык, положив мяч между передними лапами, и дышала как паровоз. Вокруг нас устроили многоголосый концерт цикады.

Я почувствовал, что изрядно проголодался, а поскольку ничего не прихватил с собой из дому, направился в сторону Вальдеморилю. Там, кстати сказать, имеется площадь, очень даже подходящая, как мне показалось, для задуманного мною эксперимента, который на самом деле и был целью нашей поездки. В центре площади, называемой площадью Конституции, висит фонарь с пятью красивыми рожками. Рядом стоит скамейка, на нее я и положил двухтомник «Истории философии» Иоганнеса Хиршбергера. Могу без преувеличения сказать, что это сочинение сыграло чрезвычайно важную роль в моей жизни. Во-первых, в студенческие годы именно оно дало мне толчок для совершения набегов в умственные дебри, возвращенные великими мыслителями. Во-вторых, благодаря обширному труду господина Хиршбергера, царствие ему небесное, я был хорошо подготовлен, когда начал преподавать в школе, особенно это было важно в первые годы. Сколько раз я соловьем разливался перед старшеклассниками, пересказывая то, что накануне вычитал у Хиршбергера! Правда, со временем стал добавлять к его сочинению и кое-что из вновь прочитанного и даже кое-какие собственные размышления,

но основой неизменно оставалась эта «История философии». Два тома в бело-голубом переплете сослужили мне неоценимую службу, поэтому расставаться с ними было больно. Приехав на водохранилище, я еще не был до конца уверен, что соберусь с духом и доведу это дело до конца. А объяснялось все просто: я принял решение постепенно избавиться от того, что мне принадлежит, включая сюда и мою дорогую и немалую библиотеку. Сегодня на площади в Вальдеморильо я сделал первый шаг – конечно, не без душевных терзаний, поскольку бросить на улице двухтомник Хиршбергера значило для меня то же самое, что без наркоза вырвать из собственного тела пару ребер.

Затем я сел под навесом на террасе ресторана «Колос», откуда не мог видеть оставленные книги, зато видел саму скамейку. Пепа лежала у моих ног. Часы на ратуше показывали начало третьего. Ни один человек не пересек площадь. Я уже заканчивал обед, когда двое маленьких детишек подбежали к скамейке, но не обратили никакого внимания на книги. Следом за ними пришла женщина, она рассеянно полистала один том и положила на прежнее место. Я заказал себе еще кофе с рюмкой орухо и решил: «Если в ближайшие двадцать минут никто не заберет книги, я сочту эксперимент неудавшимся, а „История философии“ Иоганнеса Хиршбергера вернется со мной домой». И что же? Весьма скоро на площадь неуверенным шагом вышел старик, внимательно полистал книги и, не осмотревшись по сторонам, чтобы убедиться, что рядом нет их хозяина, сунул оба тома в корзинку на своих ходунках и так же неспешно удалился. Кто он, этот старик? Я пожалел, что не подошел к нему и не спросил, а также не побеседовал с ним немного о философии.

29.

Я вызвался последить за ребенком, пока она загорала, лежа на полотенце. Но этот мой благородный поступок не был учтен во время последующей ссоры. Я и не думал отрицать, что взял на себя обязанность приглядывать за сыном, которому в ту пору было, как я уже говорил, четыре года. Первое, что мы увидели, приехав к водохранилищу, был плакат, запрещающий купание. Но мы купаться и не собирались. Решили просто провести воскресенье на природе, подышать свежим воздухом, пообедать приготовленной с утра едой и дать ребенку возможность вволю набегаться в месте, свободном от городского транспорта. Нам хотелось, чтобы Никита с ранних лет умел различать породы птиц, запоминать правильные названия насекомых, растений и форм рельефа, а этой цели трудно добиться, если не вылезать из города. У нас с Амалией было общее желание дать нашему сыну по возможности самое лучшее воспитание, но в то же время общей была и наша слепота в том, что касалось его умственных способностей.

Было жарко, и мы с малышом отлично проводили время, копая пластмассовой лопаткой ямки на берегу. Вскоре эта игра ему надоела, мне тоже. Мы устроились в тени, Никита в своей забавной красной кепочке ковырял землю, отыскивая муравьев, которых затем убивал прутиком. Я проверял контрольные работы, радуясь, что мне не придется потратить на это весь вечер, и время от времени поднимал глаза и проверял, тут ли мальчик и на что он обратил свои любопытство и энергию. Уйдя с головой в проверку, я не заметил, как сын оказался на берегу. Меня вернули к действительности крики Амалии, кинувшейся в воду. Поначалу я не понял причины переполоха и подумал, что она решила вопреки запрету искупаться. Но тут же увидел, как жена запустила руки в воду, где та доходила ей до бедер, и вытащила Никиту. Он отчаянно разевал рот, стараясь вдохнуть воздух, потом, оказавшись на руках у своей спасительницы, изверг наружу все содержимое желудка, после чего несколько минут заходился кашлем. Разгневанная Амалия потребовала, чтобы мы немедленно двинулись домой.

По дороге она выразила сомнение, что я способен быть хорошим отцом ее сыну. Не нашему, а именно ее сыну, которого она выносила и в муках родила, а я чуть не погубил. Меня словно пырнули ножом. Я человек не вспыльчивый. И никогда вспыльчивым не был. Вот мой

отец был, а я – нет. Но в тот миг, сидя в машине, я вдруг понял, почему отец иногда не мог совладать со своим гневом. Должен признаться: я с трудом сдержался, чтобы не ударить Амалию по лицу. И даже вообразил себе, будто сделал это, будто вижу кровь, вижу, как она выплевывает выбитые зубы. Меня привела в ужас мысль, что я внезапно мог стать до такой степени похожим на отца, и я вцепился в руль. Амалия, судя по всему, не заметила, что меня накрыл вихрь самых чудовищных видений, во всяком случае, она как ни в чем не бывало продолжала осыпать меня невыносимыми упреками.

Амалия, я не знаю, доведется ли тебе когда-нибудь прочесть эти записи. Если ты их читаешь, значит, меня уже нет в живых. Я хочу, чтобы ты знала, что причинила мне много зла. Если ты именно к этому и стремилась, то своего добилась. Готов признать твою победу, хотя сомневаюсь, что она принесла тебе хоть какую-нибудь пользу.

30.

В баре у Альфонсо Хромой сообщил мне, что позавчера собрался с духом и показал болячку своему лечащему врачу. Он пошел к нему, потому что по-настоящему испугался. От раны вроде бы начал исходить неприятный запах. Мне же достаточно было заметить под глазами у друга темные круги, чтобы понять, что он уже несколько ночей почти не спит. По его словам, заснуть ему мешает страх. Он часами ворочается в постели, в буквальном смысле не находя себе места от тревоги, и порой среди ночи идет в ванную, чтобы рассмотреть язву в зеркале с увеличением, но это не только не обнадеживает его, а наоборот, доводит до паники.

С этим врачом Хромой вместе учился в школе. И на правах старого знакомого явился к нему в кабинет без предварительной записи – просто позвонил по телефону и договорился. Диагноз доктор не поставил, зато прописал антибиотики. Хотя не нашел у Хромого ничего серьезного.

– Обычное воспаление, – сказал он. – Обойдемся лекарствами, и, если не будет никаких неожиданностей, через несколько дней образуется корка.

В тот вечер в баре Хромой выглядел вполне довольным. И не просто довольным, а счастливым. На мой взгляд, истинное счастье дается уверенностью, что ты победил злой рок. Без дозы страдания не может зародиться счастье ни в одном из его многочисленных вариантов. Быть счастливым не значит успокоиться от сознания собственного счастья. Не бывает абсолютного счастья. Не бывает счастья как такового. Счастье, оно здесь и сейчас. Было и прошло, поэтому ты должен генерировать его снова и снова, если желаешь им наслаждаться. Пожалуй, я предложу эту тему для обсуждения своим ученикам в первый же день после каникул. Высшая степень счастья, по-моему, заключается не в удачном стечении обстоятельств, не в миге оргазма, не в исполнении желания или удовлетворенном тщеславии, хотя какую-то долю счастья все это приносит. На мой взгляд, счастье очень верно определил один писатель, какой именно, не помню: это острое физическое и нравственное наслаждение, испытанное после того, как тебе в ботинок попал камешек, ты, мучась от боли, прошел километр и наконец – вот она, главная точка! – разулся.

31.

Я никогда не был склонен распахивать посторонним двери в свой внутренний мир. Эти записки – совсем другое дело. В них я позволяю себе предельную откровенность, поскольку то, что описываю здесь, никому конкретно не адресовано. Честно сказать, я и сам не смог бы объяснить, почему всю жизнь отказывался быть искренним с теми, кто меня окружал. Наверное, это связано с зародившейся еще в раннем детстве привычкой постоянно держать оборону.

Или я насквозь пропитан страхом – страхом показаться смешным, из-за чего люди от меня могут отвернуться.

Исключение я время от времени делаю только для Хромого – видимо, потому что чувствую себя обязанным хотя бы в малой степени отплатить за его откровенность со мной. Даже в наши с Амалией благополучные времена я никогда не рассказывал ей больше того, что было совершенно необходимо в семейных отношениях. Во-первых, не хотел давать лишний повод осудить меня. Во-вторых, за ней водилась отвратительная привычка во время наших частых ссор использовать в качестве оружия сделанные мною же когда-то раньше признания, не церемонясь с моими чувствами и даже насмехаясь над ними.

С Хромым такое просто немыслимо. Мой друг никогда не считал себя ни образцом для других, ни учителем жизни. Кроме того, на него можно положиться – могила! Поэтому я испытываю к нему доверие, какого не испытывал никогда и ни к кому. И совершенно уверен, что рассказанное ему при нем и останется. Надеюсь, он так же полагается на меня и поэтому часто делится со мной своими тайнами, хотя порой, если честно, их постыдность просто шокирует. Иногда он испытывает жгучее чувство вины, иногда попадает в неприятные ситуации, из которых сам не может найти выход, почему и просит совета. Сам я, разумеется, подобной откровенности себе не позволяю. В моем мозгу всегда включены фильтры, диктующие, что можно говорить, а что нет; и тем не менее никто не знает о моей жизни и моих мыслях столько, сколько Хромой.

Я очень высоко ценю нашу с ним дружбу. И вообще, считаю, что дружба важнее любви. Любовь, чудесная поначалу, потом приносит много проблем. Я, например, по прошествии какого-то времени уже не знаю, что с ней делать, и в конце концов просто от нее устаю. А вот дружбой трудно перенасытиться. Дружба дает мне спокойствие. Я могу послать Хромого в задницу, он может послать меня еще дальше, и на нашей дружбе от этого не появится ни единой трещинки. Мы не обязаны требовать друг у друга отчета, не обязаны постоянно поддерживать связь и твердить, что мы друг для друга значим. В любви же надо вести себя с оглядкой. В любви мне вечно казалось, будто меня тянут на веревке, а я, уже весь взмыленный, должен во что бы то ни стало поддерживать все тот же накал эмоций и ни в коем случае не обмануть ожиданий любимой женщины. А еще мы боимся, как бы все иллюзии и усилия не закончились пшиком. Беда в том, что именно пшиком они всегда и заканчивались.

Сентябрь

1.

Как-то утром мне пришлось провести группу учеников по залам музея Прадо. Завуч попросил меня и еще одну преподавательницу немного попасти это большое стадо. Кто-то предпочел бы отказаться от подобного задания, но я, прикинув все за и против и взвесив возможные последствия, решил, что выгоднее не спорить. К тому же речь, конечно, шла вовсе не о просьбе, а о вежливом, в завуалированной форме отданном приказе, который не подлежал обсуждению.

В школе я тогда проработал еще меньше трех лет, готовился вот-вот стать отцом и чувствовал, что необходимость каждый месяц приносить домой жалованье крепко держит меня за горло. Мне нужно было выслужиться, зарекомендовать себя с лучшей стороны – одним словом, проявить покорность. Сегодня я совершенно уверен, что именно таким образом мы попадаем в социальную западню, губим свои молодые годы и предаем свои идеалы.

В этом и заключается зрелость – в готовности смириться и в один прекрасный день сделать то, что тебе делать не хочется, а потом повторять то же самое снова, и снова, и снова, до пенсии и после выхода на пенсию. Ради выгоды, по необходимости, из дипломатических соображений, но в первую очередь – из трусости, ставшей уже привычной. Если вовремя не спохватиться, кончится тем, что ты проголосуешь за партию, которую презираешь.

Я ненавижу ходить на экскурсии с учениками, но в тот раз, когда я повел их в музей, нам хотя бы не пришлось уезжать из города. Утешением мне служила мысль, что можно будет полюбоваться шедеврами, узнать что-то новое от заказанного нами экскурсовода и уже к обеду вернуться домой. С самого начала преподавательской деятельности у меня было четкое представление о моих обязанностях: явиться в школу, провести уроки – и немедленно домой. В качестве молодого учителя я принимал участие – и первое время с большой охотой – в программах по обмену с одной из школ Бремена, но на четвертый год это дело бросил. На педсоветах и родительских собраниях мне не хватает воздуха. От проверки контрольных работ и составления отчетов у меня разливается желчь. От каждодневной болтовни в учительской тошнит, и скрывать это становится все труднее. Я не считаю себя мизантропом, хотя многие коллеги относят меня именно к такой категории. Я просто устал. Очень устал. Устал от многого, но особенно от ежедневных контактов с людьми, которые мне неинтересны. А выдергивание с привычных классных занятий я воспринимаю так, словно мне спящему выливают на голову ведро холодной воды.

Я не владею искусством устанавливать в классе тишину. Это не мое дело. Что бы ни утверждало школьное начальство, я иду на урок не для того, чтобы учить подростков хорошо себя вести, а чтобы преподавать им свой предмет, к чему тщательно готовлюсь и за что мне платят зарплату. Родители, если бы они были по-настоящему озабочены воспитанием собственных чад, должны были бы в срочном порядке нанять охранников, вооруженных дубинками и перцовыми газовыми баллончиками и обученных поддерживать дисциплину, пока преподаватели будут заниматься преподаванием, как если бы они, то есть преподаватели, являлись частью школьного инвентаря. Разве кто-нибудь ждет от классной доски или проектора, что они начнут наводить порядок?

Сегодня я решил не ограничиваться ежедневным глотком горечи, а восстановить на страницах этого дневника часть беседы, которая состоялась у меня в кафетерии музея с моей коллегой в те три четверти часа, что мы предоставили ученикам после обхода залов с экскурсо-

водом, чтобы они в свое удовольствие посмотрели картины. Или отправились тайком курить в туалет. С них станется.

Коллегу, о которой я веду речь, царствие ей небесное, звали Марта Гутьеррес, и она была на восемь лет старше меня. Мне запомнилась ее особая манера перемешивать ложечкой кофе. Она делала это долго и очень медленно, во всяком случае, гораздо медленнее, чем делают другие, и если одновременно что-то говорила, то казалось, будто ударные слоги она отбивала этой самой ложечкой.

В музейном кафетерии Марта Гутьеррес рассказала мне кое-что о своей личной жизни. Брак ее распался, и, возможно, у нее не было никого, кому она могла бы пожаловаться на свои напасти. Я с удовольствием вспоминаю эту женщину, уже, к несчастью, умершую. В самом начале, когда я был еще новичком в профессии, она великодушно взяла меня под свое покровительство, ввела в курс школьных дел, и ее советы и наставления помогли мне избежать многих ошибок.

Постепенно разговор наш принял достаточно откровенный оборот, и тогда я спросил, почему, на ее взгляд, жены по прошествии определенного времени отказываются от фелляции. Я рискнул задать подобный вопрос после того, как услышал от нее некоторые признания чисто постельного толка. Не помню в точности ответа. Она сказала что-то вроде того, что фелляция – это свинство, она унижительна и способствует переносу инфекций. Но согласилась со мной, когда я возразил, что по-настоящему влюбленные женщины не отвергают такую практику.

– Вот именно что по-настоящему влюбленные, – повторила она за мной.

Потом призналась, что уже четыре года не подпускает к себе мужа. Я мгновенно вообразил, как те же самые слова произносит Амалия. Тогда у меня еще теплилась надежда: а вдруг нежелание моей жены спать со мной – дело временное и оно связано с плохим самочувствием из-за беременности, как и ее просьба разбежаться по разным спальням. До чего наивным я порой бывал.

2.

Я очень переживал за Амалию. Парализованный ужасом стоял в родильной палате, видел кровь Амалии, ее муки и всеми силами старался не мешать медикам. Я держал в своей руке горячую, потную руку жены, смотрел на искаженное болью лицо, слышал крики, судорожное дыхание и клялся себе: «Эту женщину я буду любить всю жизнь, что бы ни случилось». Почему я не сказал этого ей самой? Постеснялся. В доме моих родителей не было в обычае выражать свою любовь словами. Я никогда не слышал, чтобы отец сказал маме: «Я тебя люблю». И она тоже никогда не говорила ему ничего подобного. Наверное, потому что на самом деле они и не любили друг друга. Но... А нас-то с Раулито они любили? Нас кормили, одевали, дарили нам подарки ко дню рождения и Дню волхвов⁴, и поэтому мы должны были считать, что нас любят. Я по-настоящему сожалею, что так и не развил в себе способность говорить окружающим о своих чувствах к ним – искренне и прямо. Как было бы хорошо, если бы во время трудных родов Амалии я смог бы признаться ей, что люблю ее до слез. Возможно, это многое изменило бы к лучшему. Но ничего подобного я из себя выдавить не сумел – не получилось. Кроме того, мне было стыдно проявить слабость на глазах у тех, кто принимал у моей жены роды.

Когда Амалии вкалывали в спину обезболивающее, меня попросили отойти в сторону. И попросили не слишком вежливо: – Не мешайте!

Но Амалия поняла их неправильно:

– Тони, не уходи, не уходи, пожалуйста. – Ее голос дрожал от страха.

И прежде чем я сказал хоть слово, кто-то поспешил объяснить ей:

⁴ День волхвов – традиционный праздник в Испании, отмечаемый 5 января.

– Успокойтесь, сеньора, ваш муж никуда не уходит.

Я увидел, как ей сделали несколько отметок в нижней части спины. Ее нагота, раньше будившая во мне плотское желание, теперь вызывала глубокое сострадание. И еще заставляла чувствовать себя виноватым. В одну из ночей я испытал оргазм, а она забеременела и теперь должна страдать.

Когда Амалии вводили катетер между позвонками, я в ужасе воздел глаза к потолку, так как плохо понимал, что они делают. Да, во время беременности жены мы с ней вместе читали специальную литературу, но, должен признаться, тема меня не слишком увлекала, поэтому должного внимания я не проявлял и теперь не мог сообразить, зачем ей делают укол в спину.

Потом ситуация осложнилась. Ребенок застрял в родовых путях и начал испытывать нехватку кислорода. Акушерка ловко рассекла роженице промежность, и вдруг показалась головка с темными волосами. Мой сын. Потом он опять скользнул внутрь и пропал из виду. Но наконец все-таки вылез наружу – мокрый и посиневший. У меня так дрожали руки, что я отклонил предложение перерезать пуповину. Медсестра положила новорожденного матери на грудь. Потом его завернули в белую пеленку и дали поддержать мне, пока Амалии накладывали швы на разрез. Младенец пронзительно попискивал, и тогда эти звуки были для меня волшебными, потому что свидетельствовали: он жив и здоров. Вскоре, когда его привезли домой, крики сына превратились для нас в настоящую пытку, они не давали нам спать по ночам и доводили до безумия. Мы без конца ссорились. И так продолжалось изо дня в день.

3.

Третье анонимное послание было написано от руки большими буквами. В нем говорилось:

Когда ты начнешь наконец следить за поведением своего сына? Может, пора привязать его на всю оставшуюся жизнь к какому-нибудь столбу? Сколько людей молятся Богу, прося, чтобы он погиб под колесами грузовика.

Как и в предыдущих случаях, первым моим желанием было поскорее избавиться от записки, но на сей раз я как следует подумал и поступил иначе. Какой-то негодяй целенаправленно изводит нас. Пока он ограничивается тем, что сует свои послания в наш почтовый ящик...

А ведь никогда не знаешь заранее, к чему приведут подобные фортели; все начинается с пустяков, а потом они могут создать для своих жертв нешуточные проблемы. В нашей школе существует правило: преподаватели должны постоянно быть начеку и всерьез относиться к любому намеку на травлю против кого-то из учеников, даже если на первый взгляд это выглядит всего лишь легким нарушением дисциплины. Я решил следовать тому же правилу и в своей личной жизни. Возможно, и нынешнее – третье – послание, и те, что за ним последуют (а они действительно последовали), когда-нибудь послужат уликой в суде, если дело дойдет до преступления. Вот почему записку я сохранил. И предъявил Амалии, которая недолго думая указала мне пальцем на мусорное ведро:

– Хулиганья везде полно.

4.

Нашему малышу исполнилось два года, но он так и не научился произносить хотя бы одну связную фразу. Отдельные слова, конечно, говорил, но так их коверкал, что мы не понимали, чего он хочет. Наступит ли когда-нибудь день, когда он возьмет на себя труд спрягать глаголы? Мы с Амалией начали всерьез беспокоиться. И договорились, что будем показывать нашему

сыну, что мы его не понимаем, – может, это заставит его больше стараться. Детский врач повода для тревоги не нашла. У каждого ребенка, объяснила она, свой особый ритм взросления. Но у нашего, как мы видели, не было вообще никакого ритма. С каждым разом мы выходили из ее кабинета все менее обнадеженными, но разве поспоришь с дамой в белом халате?

Как-то раз в доме у мамы мы встретились с Раулем и Марией Эленой, и они, словно нарочно, принялись с гордостью рассказывать, что их старшая дочь в возрасте Никиты (младшей только что исполнился год) уже знала наизусть молитву «Маленький Иисус», болтала без умолку и выучила несколько песен. Я спросил, не выступала ли она с докладами. На этом разговор иссяк.

По дороге домой Амалия упрекнула меня за то, что я всегда слишком грубо разговариваю с братом, правда, это не помешало ей признать, что Рауль и его жена вели себя бестактно. Тем временем Никита, сидя на заднем сиденье, что-то мычал, а я, если честно, уже начинал ненавидеть эти звуки.

Иногда, когда Амалии не было дома, я в отчаянии садился перед ребенком и говорил:

– Ну-ка, Гегель, давай повторяй: оригами. – Или выискивал еще какое-нибудь слово с трудным произношением.

Мальчик внимательно смотрел на меня, но во взгляде его читалась простодушная скука. Я же делал вид, будто он выдержал проверку, и хвалил малыша:

– Отлично. – Потом двигался дальше: – Теперь усложним задание. Повторяй: «Жизнь – это бесконечное совершенствование».

Но хочу непременно пояснить, что, исключая такие вот моменты, когда у меня попросту лопалось терпение, я очень нежно относился к этому дурачку. И очень трепетно воспринимал свое отцовство, особенно в первые годы. Старался держаться с сыном на равных, садился рядом и рассказывал ему всякие истории, пытаюсь рассмешить. Мы вместе играли, устроившись на ковре, и хотя сам я отнюдь не отличаюсь разговорчивостью, без конца болтал с Никитой, следуя совету, если не сказать приказу, Амалии. Я никогда не подражал детской речи, как другие родители. Амалия мне это запрещала. Она терпеть не могла, когда взрослые «придуривались» и сюсюкали с ребенком. Я задавал Никите всякие вопросы, называл разные предметы, пел песни, читал детские стишки и произносил самым спокойным тоном скороговорки, твердо надеясь, что ребенок окупится в мир слов. Но все было напрасно.

Я начал склоняться к мысли, что наш сын родился умственно отсталым, и, как мне казалось, вряд ли Амалия думала иначе, хотя в любом случае каждый из нас предпочитал хранить свои подозрения при себе.

Мы часто оставляли Никиту на несколько часов у родителей Амалии или у моей мамы, чтобы он общался с другими людьми и привыкал к другим голосам, другой манере речи и языку жестов. Однажды на кухне моя теща благословила его, словно была самым папой римским. Не было случая, чтобы, навестив нас, она не дала ему поиграть свои четки, старинные четки, на которых сохранились следы рук нескольких поколений святош. Никите очень нравились перламутровые бусины – возможно, потому что он принимал их за леденцы. Поэтому часто тянул их в рот, сильно пугая Амалию, которая боялась, как бы нить не порвалась и мальчик не подавился. Теща настойчиво интересовалась, когда же мы будем крестить ее внука. Она была убеждена, что отставание Никиты – это Божье наказание.

Случилось так, что она сломала тазобедренный сустав и попала в больницу. Навестив мать, Амалия поспешила сообщить, что мы окрестили ребенка. Она сама решила пойти на обман, а я без колебаний ее поддержал. Амалия придумала подходящее объяснение: мы не могли и дальше откладывать крещение, поскольку в церкви нам уже была назначена дата, и, если бы мы отказались от нее, пришлось бы снова и неизвестно сколько ждать своей очереди. Теща со слезами на глазах возблагодарила Господа за то, что отныне ее внук приобщен к Христовой Церкви.

Когда она выписалась из больницы, они с мужем пригласили нас в ресторан «Эвиа», чтобы достойным образом отметить это событие. Теща ходила с палочкой, тесть щеголял седыми усами, как и положено верному стороннику франкизма. С тех пор они перестали донимать нас упреками по этому поводу.

5.

Последнюю часть пути до детского сада мы шли по маленькой улочке, закрытой для транспорта, и взяли за правило бросать монетку, чтобы решить, спускаться нам вниз по лестнице или по пандусу для велосипедистов и инвалидов-колясочников. Никите уже исполнилось три года, и бросание монетки приводило его в дикий восторг. Правда, иногда он швырял ее со всего маху, так что потом приходилось долго монетку искать. Сын неизменно выбирал решку – может, это слово ему было легче произнести, а может, из-за слабой способности к концентрации он ухватывал только конец моей фразы: «Орел или решка?» Затем, независимо от того, какая сторона выпала, решительно направлялся к пандусу, не обращая внимания на мои протесты, и я всякий раз задумывался, то ли маленький негодяй не любит проигрывать, то ли не понимает смысла игры.

Как-то раз я еще только собирался вытащить монетку из кармана, а сын уже побежал по пандусу. Никита явно не отличался большим умом, но для своего возраста был довольно подвижным и крепким. Ну хоть что-то! Вдруг он резко затормозил и попятился назад. Я отставал от него на несколько шагов и тотчас заметил двух женщин, которые, судя по воинственным позам и злобным минам, поджидали нас не с самыми добрыми намерениями. Они перегородили собой двери детского сада. И обойти их было невозможно. Никита спрятался за мою спину. Плохой знак. Я обернулся и тихо спросил:

– Что ты натворил?

Одна из женщин подняла рукав платья у девочки, стоявшей рядом с ней, и показала следы зубов моего сына на ее худенькой и бледной ручке. Потом язвительно спросила:

– Вы что, не кормите своего ребенка?

Более заметными, потому что более глубокими и, возможно, совсем недавними, были два ряда красных точек на ноге у пухлого мальчишки, которого другая женщина крепко держала за руку. Именно она обвинила меня в том, что я плохо воспитываю сына, поэтому он стал «бедой их детского сада», и она же пригрозила, что в следующий раз разговаривать со мной будет ее муж. Я хотел дать ей совет: надо, мол, научить мальчика защищаться, но на самом деле не знал, как с достоинством выйти из этой ситуации. Тем временем к детскому саду стали подходить и другие родители со своими детьми, а так как мы перегораживали дверь, им тоже пришлось задержаться рядом с нами. И кое-кто тут же вмешался в разговор, подтверждая, что Николас безо всякой причины обижает их детей. С высоты своего роста я посмотрел на сына и спросил:

– Это правда?

Когда я описал случившееся Амалии, она заплакала:

– Они хотят убедить нас, что наш ребенок – чудовище. – Потом, чуть придя в себя, добавила:

– А что мы будем с ним делать, когда ему исполнится лет пятнадцать?

Чтобы успокоить ее, но не слишком веря собственным словам, я сказал, что к тому времени он переменится, если мы постараемся правильно его воспитывать. И тут надо поднажать на общую культуру – это тоже должно сыграть свою роль.

Прошло несколько недель, как-то раз я вернулся из школы полумертвый от усталости, с головой, распухшей от школьного шума и гама. Мне хотелось немного отдохнуть, вздремнуть, чтобы хотя бы во сне отпилить бензопилой головы своим ученикам. Я застал Амалию в страшном расстройстве.

– Что случилось?

Жена только что разговаривала по телефону с директором детского сада, и та передала ей требование группы родителей: немедленно забрать оттуда Никиту. Но по-настоящему я встревожился, когда увидел, как Амалия наливает себе бокал вина, хотя время было совсем для того не подходящим.

С отчаянным видом она заявила, что мы больше не поведем сына в «этот гадюшник». Потом залпом выпила вино, словно пытаясь затушить бушевавший внутри пожар. Я возразил: если мы решим перевести сына в другой садик, нам наверняка придется снова долго стоять в очереди. И надо будет каждый день оставлять Никиту с ее родителями или с моей матерью, что обернется новыми сложностями.

– Дай мне подумать, – сказала Амалия, потом твердым шагом, стуча каблуками, двинулась с новым бокалом вина в свою комнату и заперлась там.

На следующий день мы все втроем явились в детский сад раньше обычного. На сей раз не было никакой монетки, я взял Никиту на руки, и вниз мы спустились по лестнице. Амалия шла следом за нами, она сильно нервничала и поэтому попросила, чтобы разговор с директрисой я взял на себя. Я весьма сдержанно заявил этой даме то, о чем мы с женой договорились еще дома: обязанность детского сада – применять педагогические меры, чтобы исправить плохое поведение нашего сына, а также в случае необходимости защищать от него других детей. Мы не станем забирать Никиту из садика, а если понадобится, без малейших колебаний воспользуемся услугами юристов.

Со слов одной из мамаш, с которой мы поддерживали дружеские отношения, какое-то время спустя нам стало известно, что воспитательницы частенько отделяли Никиту от остальной группы. Видимо, таким образом они старались уберечь детские руки и ноги от его укусов, а также утихомирить самых возмущенных родителей.

Мы с Амалией, откровенно говоря, восприняли эту новость равнодушно.

– Так он скорее научится вести себя как положено, – заявила моя жена.

– По мне, так пусть его хоть к батарее привязывают, – ответил я.

6.

По случаю четырехлетия тесть с тещей подарили Никите металлическую коробку с цветными карандашами фирмы «Альпино». И у меня самого, и у Амалии в детстве были карандаши той же марки, правда, помещались они в картонной коробочке, которая быстро рвалась. Мы с женой в один голос одобрили такой подарок. В нашей жизни были, пожалуй, подарки и получше, но сейчас эти карандаши воспринимались как самая отрадная метка в нашей эмоциональной памяти, поэтому нас порадовало, что сын получил такие же, какими когда-то мы с таким упоением рисовали.

Едва Никита успел содрать обертку, мы с Амалией, словно впад в детство, почувствовали искушение схватить по карандашу, чтобы испробовать их хотя бы на краешке листа. Но ведь подарок предназначался сыну, и мы запретили друг другу брать то, что нам не принадлежало.

Мой тесть, как и следовало ожидать, решил использовать ситуацию в воспитательных целях. Он сел рядом с Никитой за стол и начал произносить названия цветов, чтобы внук повторял их следом за ним. При этом то и дело поглядывал на нас, словно говоря: «Теперь вы понимаете, как надо обращаться с ребенком?» Потом решил изменить правила игры. Например, говорил:

– Ну-ка, дай мне оранжевый карандаш.

И мальчик действительно давал оранжевый. Так повторялось несколько раз, и Никита каждый раз делал все правильно, но вскоре начал хватать карандаши наобум. Игра ему явно наскучила. Он больше не мог заставить себя сосредоточиться, а дед с той же скоростью терял

терпение и называл малыша тупицей, не обращая внимания на наше присутствие. Амалия резко его одернула, и старик, оскорбившись, заперся у себя в комнате и даже не захотел выйти и проститься с нами, когда ему сказали, что мы уходим.

Несколько дней спустя Амалия обнаружила, что Никита самым варварским манером обгрыз все карандаши. А некоторые еще и переломил. Чтобы хоть как-то защитить его, но в глубине души сильно огорчившись, я рассказал Амалии, будто в детстве тоже любил грызть карандаши, а с еще большим удовольствием – ластик, правда, делал это не так остервенело, как наш сын. Просто своими яркими цветами карандаши напоминали мне сладкие фрукты, жвачки и прочую ерунду, к тому же меня неудержимо манил запах дерева. А вот Амалия была очень послушной и разумной девочкой, она никогда не ломала и не грызла карандаши и уж тем более не путала их с чем-то вкусным. Однако мое признание, что ребенком я делал то же самое, что и Никита, ее успокоило. Она всегда придерживалась мнения, что мы, мужчины, с самого раннего возраста склонны совершать глупости и разрушать все подряд и это неотъемлемая часть нашей хищнической природы. Иными словами, мы глупы от рождения – что неисправимо.

Амалия, конечно, считала себя кладезем премудрости, но не знала только одного: в детстве я никогда не грыз карандашей, как бы мне этого ни хотелось, не грыз по той простой причине, что этого никогда не допустили бы мои родители. Мама надавала бы мне затрещин, а отец свел бы наказание к одной-единственной, но куда более чувствительной, чем все мамины, вместе взятые.

7.

Уже через год после свадьбы на нашу спальню опустился ледниковый период, что, по словам Хромого, рано или поздно бывает с любой супружеской парой.

– А не слишком ли рано в моем случае, как ты думаешь? – спросил я.

Он рассмеялся.

Именно в это время я почувствовал, что в постели жена стала вести себя холоднее, хотя, возможно, началось это и раньше, просто я не желал ничего замечать, пока не подтвердилась ее беременность и она не отлучила меня от своего тела. Правда, потом, через некоторое время после рождения Никиты, снова стала подпускать к себе, но все реже и реже, и держалась вяло, словно выполняя постылую обязанность. Мне, само собой, никогда не доводилось совокупляться с трупом, но стоит вспомнить безразличие и апатию Амалии, когда она лежала на спине с едва раздвинутыми ногами, как я легко представляю себе, что такое некрофилия. «Ты кончил?» – был ее обычный вопрос, как только она чувствовала, что мой натиск ослабевал.

Узнав о своей беременности, Амалия тотчас объявила мне таким тоном, словно зачитывала судебное постановление, что пока любовью мы заниматься не будем. И привела аргумент, показавшийся мне убедительным. Жена боялась, как бы внутрь к ней не проникла какая-нибудь инфекция, которая может повредить либо плоду, либо ей самой. А я мечтал стать отцом и быть хорошим мужем, поэтому не только с пониманием отнесся к ее доводам, но и безоговорочно принял их в надежде, что после рождения нашего ребенка мы снова обретем вкус к постельным играм, а также вспомним привычку доставлять друг другу удовольствие. Я полагал, что, уважительно относясь к жене, тем самым гарантирую себе ее любовь. Это была моя роковая ошибка.

На самом деле в те дни закончилось то, что было лишь имитацией физического влечения, великолепно разыгранного Амалией. Сегодня у меня на сей счет почти не осталось сомнений. За шестнадцать лет нашего брака произошло много всякого, но именно этот обман мне труднее всего простить. Будучи женщиной расчетливой и прагматичной, Амалия выбрала меня, преследуя двойную цель: получить не только сперматозоиды, гарантирующие ей материнство,

но и простофилю, который будет помогать растить выношенное ею дитя. Она без труда доби-
лась своего: хватило минета в лиссабонской гостинице, чтобы я попал в ее сети.

Случались ночи, когда я буквально умолял Амалию о близости и тем самым, не созна-
вая того, только углублял ее презрение, поскольку в глазах жены превращался в лишенную
собственного достоинства и характера куклу, готовую за несколько мгновений наслаждения
заплатить часами и даже днями унижений.

Мучат ли меня подобные воспоминания? Еще как мучат, черт побери, но тем сильнее я
испытываю потребность под конец жизни вычерпать всю грязь, скопившуюся у меня внутри.
Не желаю быть похороненным вместе с ней, хочу примириться с самим собой и в последние
минуты почувствовать себя душевно чистым.

Однажды ночью, когда меня особенно сильно разобрало, мы с Амалией чуть не поссо-
рились. Правда, до серьезной размолвки дело не дошло, потому что я, к счастью, вовремя сдал
позиции – у меня, видимо, хватило на это здравого смысла, поскольку я сам испугался того, как
неудержимо мне захотелось разбить жене лицо в кровь. Другой на моем месте, скорее всего, и
вправду ударил бы ее, но я на такое не способен. Я вообще никому не могу причинить боль.
И не хочу быть похожим на своего отца, который считал материнскую вагину своей собствен-
ностью и никогда бы не позволил, чтобы мать в чем-то ему отказала или его ограничивала из
желания добиться невесть каких уступок, а то и вознаграждений.

По взаимному соглашению мы с Амалией стали спать отдельно. Теперь-то я понимаю,
каким был дураком. И наивным идиотом. И размазней. Мне казалось, что будет правильно,
если я не стану нарушать ее ночной покой своим храпом. Она беременна. Скоро у нее выраст-
ет живот. Надо делать все возможное ради здоровья жены и нашего будущего ребенка. И я
настолько был в этом убежден, что не только принял доводы Амалии, но и заставил себя пойти
на куда большие жертвы, чем требовала она. Знать бы тогда...

8.

Амалия, сидя на диване, кормила грудью нашего полуторамесячного сына. Я готовил
на кухне ужин. В ту пору мои навыки обращения с кастрюлями и сковородками можно
было назвать весьма скромными, что не мешало мне почти ежедневно исполнять обязанно-
сти повара. И еще ходить по магазинам. И еще мыть посуду, пока мы не купили посудомоеч-
ную машину. Амалия считала одним из своих главных прав требование разделять между нами
домашние обязанности, и это была ее навязчивая идея, о чем она забыла предупредить меня до
свадьбы. Правда, я не был тем пресловутым комедийным персонажем, который вечно путает
соль и сахар. Я изо всех сил старался, набирался опыта, делал явные успехи и, пожалуй, даже
с удовольствием взял бы на себя многие повседневные заботы, если бы потребность в физиче-
ской любви не заставила меня очень явственно и остро осознать, что я стал жертвой обмана.

В воспоминаниях я вижу, как режу кружками баклажан, пользуясь длинным ножом, кото-
рый любил, хотя он и был неудобным, потому что нож входил в кухонный набор, подаренный
нам мамой. Я собирался обваливать кружки баклажана в панировке и поджарить, чтобы подать
вместо мяса и рыбы, от которых Амалия стала отказываться, прочитав несколько статей с опи-
санием процессов производства продуктов питания. Теперь, кстати сказать, она нередко рас-
суждает на эту тему в своей программе на радио.

Я зачем-то ей понадобился, и она меня позвала. Войдя в гостиную, я увидел жену сзади:
она сидела, прижав голову ребенка к груди. Красивые длинные волосы волнами падали на
плечи. Она была по пояс голой и выглядела очень хрупкой: нежные изгибы спины, тонкие руки
– все это обычно вызывало у меня прилив огромной нежности. Амалия всю себя отдавала
процессу кормления, главным для нее в тот миг было покрепче прижать к себе младенца, ни
на что другое она не обращала внимания, а у меня вдруг разыгралась кровь. Признаюсь, что

был готов на все, лишь бы занять место сына и жадно прильнуть к ее груди. В голове у меня вихрем закрутились эротические картинки, и я едва не потерял над собой контроль. До чего красива была эта ледяная статуя, притворившаяся женщиной! Я остановился в двух-трех шагах от нее и только тут заметил, что принес с собой нож. Внезапная мысль затуманила мне мозги, хотя и всего на несколько секунд, но и этого было достаточно, чтобы с жуткой отчетливостью представить себе, как я сзади кидаюсь на жену и ребенка и безжалостно закалываю их. Амалия успевает коротко вскрикнуть от неожиданности, прежде чем нож входит ей в горло, бедный ангел ничего не понимает.

Голос Амалии заставил меня очнуться от кровавой фантазии. Не поворачивая головы, она спокойным тоном попросила достать для нее из холодильника йогурт, чтобы он был не слишком холодным.

И вот теперь я задаюсь вопросом: все эти преступления против женщин или мужское насилие, назовите как угодно, о которых часто сообщает пресса, вызваны внезапным помрачением рассудка, или хладнокровно планируются, или существует некое другое объяснение, до которого мне, собственно, нет никакого дела?

Вернувшись на кухню, я с ужасом понял, что изо всех сил сжимаю в руке нож.

9.

Родители Амалии пригласили нас пообедать в «Каса Доминго», ресторан, расположенный неподалеку от их дома и оформленный в старом стиле. Мы что-то ели, что-то пили – для нынешних моих воспоминаний гастрономические подробности значения не имеют. Теща не стала скрывать, что в ресторан они нас позвали, чтобы не тратить времени и сил на готовку. Тесть не упустил случая произнести обычную гневную речь, направленную против Фелипе Гонсалеса⁵ и его правительства. Амалия, которая тайком от отца неизменно голосовала за социалистическую партию, не спорила с ним, но и не поддакивала.

Обычно мне удавалось не больше трех минут с некоторым даже сочувствием выносить фанатизм старика, идеологически застрявшего в эпохе, когда, по его мнению, у нас царили порядок, закон и единство нации. В эти три минуты его праворадикальный монолог потешал меня, как могут потешать обезьяньи гримасы. Потом запасы моего терпения иссякали, а замшелые речи тестя начинали сильно утомлять, вгоняли в сон и одновременно вызывали неукротимое желание швырнуть что-нибудь ему в морду (не знаю, салфетку или мою порцию салата оливье), и тем не менее я не мешал ему – вернее, мы не мешали ему – наболтаться в свое удовольствие, выплеснуть наружу все эти глупости, фобии и зловещие предсказания, чтобы потом наконец спокойно заняться едой.

По дороге в ресторан мы забросили Никиту к моей маме – отчасти желая избавиться от его плача и капризов, отчасти потому, что тогда в общественных местах еще позволялось курить, и нам с Амалией не хотелось отравлять малыша табачным дымом, нашим собственным или чужим. По той же причине мы не курили у себя в квартире – или высывались в окно, если было не слишком холодно, или выходили на лестничную площадку, пользуясь тем, что живущей напротив соседке было уже почти девяносто лет, поэтому она мало что замечала и практически не покидала своего жилища.

Хорошо помню короткую сцену, случившуюся во время все того же обеда с родителями Амалии. Мы вчетвером занимали столик в глубине зала, Амалия сидела напротив меня. Я бы предпочел, чтобы жена сидела рядом, справа или слева, потому что она то и дело пинала меня под столом ногой, чтобы я помалкивал, а удары, нанесенные сбоку, получались бы менее болезненными.

⁵ *Фелипе Гонсалес* Маркес (р. 1942) – председатель правительства Испании (1982–1996).

И вот в какой-то миг, когда тесть настаивал, что пора сменить правительство или, допустим, даже политический строй – с помощью военных или без военных, я посмотрел Амалии прямо в глаза, а она посмотрела в глаза мне, я улыбнулся, и она тоже улыбнулась, хотя теперь я затрудняюсь сказать, кто улыбнулся первым, а кто лишь ответил улыбкой на улыбку. А может, так получилось совершенно случайно. Простое совпадение. В моем взгляде и моей улыбке таился молчаливый вызов, даже отвращение, и она, я уверен, сразу это уловила, если, конечно, незаметно не наблюдала за мной уже какое-то время, читая мои мысли, как в открытой книге. Вне всякого сомнения, она поняла то, что я без слов говорил ей. В выражении ее лица сразу же соединились высокомерие и грозная холодность. Думаю, если бы в тот миг передо мной поставили зеркало, я бы увидел на своем лице ту же гримасу.

Она все знает, решил я. Она умная женщина, она догадалась и дает мне понять, что ей наплевать на мои поступки и мои секреты. Дело в том, что пару дней назад я впервые побывал в борделе в районе Ла-Чопера. Но отправился туда не один. Один бы я пойти в бордель не решился. Хромой, у которого в ту пору обе ноги еще были целы, считал себя экспертом по этой части и хорошо знал нужное заведение. Он вызвался быть моим гидом. По дороге Хромой объяснял, как следует себя вести с проститутками. Первая, выскочившая невесть откуда, повела себя со мной почти агрессивно. Друг знаками дал понять, что она мне не подходит. Я его послушался. И вскоре завел беседу с другой женщиной, которая на вид была не хуже и не лучше первой, но на сей раз Хромой кивнул одобрительно.

Он, кстати сказать, был убежден, что проституция спасает браки. Вполне возможно, что мне она действительно помогла выдерживать супружескую жизнь на протяжении почти пятнадцати лет. Но я не располагаю достаточными фактами, чтобы признать безусловно справедливой его гипотезу. Тем не менее я твердо уверен, что почувствовал освобождение, перестав зависеть в этом плане от капризов Амалии.

10.

Наступил первый день нового учебного года – и последнего для меня, о чем известно только нам с Хромым (хотя не знаю, верит он мне или нет).

Мысль, что я больше не приговорен до самой пенсии вести уроки, подняла мне настроение. Во время занятий я был как-то непривычно весел.словно совсем другой человек, с совсем другим характером, выселил меня из собственного тела, надел его на себя, как надевают рабочий комбинезон, и начал вести уроки, сделав их более дельными, а объяснения – более яркими и остроумными, что мне совсем не свойственно. Расхаживая по классу, я задавался вопросом: «Что со мной происходит? Откуда эти вспышки эйфории, это красноречие, эта уверенность в своих силах?» Мне даже удалось несколько раз рассмешить учеников. Не только они, но и я сам не подозревал, что обладаю чувством юмора.

Единственное, что с некоторых пор и до сегодняшнего дня привлекало меня в учительской работе, это жалование. После самого первого этапа, когда я был в своей профессии новичком, полным иллюзий и желания делать дело как можно лучше, очень скоро я решил не принимать учеников всерьез и стал относиться к ним с презрением. Да и по-прежнему не принимаю их всерьез (иными словами, мне безразлично, научатся они чему-нибудь или нет), зато сегодня, по крайней мере сегодня, я их не презирал. Мне даже захотелось сесть среди них, хотя обычно я стараюсь соблюдать дистанцию, особенно с девочками, у которых почти оформилась грудь и которые в своих коротеньких по нынешней моде брючках распространяют вокруг запах духов и вызывают к себе отчетливо эротическое влечение.

Сегодня все было немного не так, как обычно бывает в начале учебного года. Я смотрел на учеников с симпатией, если не с нежностью, а ведь она вспыхивает у меня в глазах, только когда по дороге в школу я слежу за полетом стрижей в утреннем небе. Стрижей я обожаю. Они

летают без отдыха, свободные и усердные. Иногда я смотрю в окно на тех, что устроили свои гнезда под коробками кондиционеров в доме напротив. Скоро, как и каждый год, они полетят зимовать в теплые страны. Если ничего не изменится и моя жизнь покатится по намеченному пути, будущей весной, к их возвращению, я еще буду здесь.

Посмотрим.

11.

Я умру, не совершив за всю свою жизнь ни одного убийства. Правда, не знаю, убить другого и убить самого себя – это одно и то же? Во сне я вижу, как некий член верховного суда с опущенным на лицо капюшоном дает мне в руки автомат и следом зачитывает приговор, согласно которому я должен в течение двух часов уничтожить какого-нибудь человека – любого по своему выбору. Я начинаю отказываться, ссылаюсь на свои моральные принципы, всеми силами сопротивляюсь, но ничего не помогает. Либо я выполню приказ, либо меня подвергнут диким пыткам, а затем сожгут живьем. А так как я по-прежнему не соглашаюсь, два тюремщика волокут меня в зловонную камеру. Но прежде чем они захлопнут дверь, я говорю, что уже выбрал жертву. Они хотят знать, о ком идет речь, и предупреждают: «Не вздумай тянуть время, все эти фокусы нам знакомы». Я отвечаю, что согласен выстрелить в директрису школы, в которой служу. Когда я выхожу из машины на отведенной для учителей стоянке, мне кажется, что настроение у меня просто великолепное, – я даже позволяю себе какие-то шуточки. Тюремщики недоверчиво переглядываются, но постепенно мой юмор их заражает, и они начинают хохотать во всю глотку.

В то утро директриса поздоровалась со мной, скрывая под чопорной миной презрение, которое я ей внушаю, я же ответил на ее приветствие с ледяной вежливостью, пряча за ней свою ненависть. Моя рука в кармане пиджака превратилась в пистолет, и я выпустил полдюжины пуль прямо в живот директрисе, так что она даже не успела понять, что происходит.

Уже давно я в своих отношениях с моей главной начальницей следую одной тактике: держаться как можно дальше от поля ее деятельности. Понимаю, что она простая чиновница с весьма ограниченной властью, однако проявляет завидные ловкость и упорство, когда надо испортить жизнь своим подчиненным. Понимаю и молчу, а если хочу позлословить на ее счет, что случается нередко, то стараюсь делать это так, чтобы до ушей директрисы мои отзывы не дошли. Другие учителя, до ужаса отважные, пытались возмущаться и в глаза говорили ей все, что о ней думают, но в результате только ухудшили ситуацию. Она женщина вредная и злопамятная. Я, например, именно ее должен благодарить за свое предельно неудобное расписание, которое и в этом году не стало лучше. А если оно чуть изменилось, то исключительно в худшую сторону. Я по-прежнему остаюсь жертвой постановления 2013 года, которым правительство Мариано Рахоя⁶ исключило из списка обязательных дисциплин историю философии, переведя ее в число дополнительных для второго года бакалавриата. Зато я должен для заполнения расписания преподавать предмет под названием «введение в предпринимательскую деятельность». Постановление ударило не по мне одному. Моя коллега, например, вынуждена преподавать три якобы сходных по смыслу предмета. И она имела наглость, или нахальство, или преступное бесстыдство попросить директрису отправить ее на специальные курсы и получила ответ: «Занимайтесь дома сами». С тех пор они стали врагами.

Таким образом я вынужден учить ребят вещам, в которых не слишком сведущ (не слишком сведущ? – ха-ха-ха, я в них ни черта не понимаю) и которые считаю вообще никому не нужными. И делаю это из-за жалованья.

⁶ *Мариано Рахой* Брей (р. 1955) – испанский политический и государственный деятель, лидер Народной партии с 2004 г., председатель правительства Испании (2011–2018).

12.

Завершив рабочий день, я хватаю портфель и спешу к выходу, но в коридоре слышу сзади обращенный ко мне голос. Это отец одной моей ученицы – из числа тех, что хорошо учатся из трусости, а не благодаря особому уму. Тон у него резкий, и я не только по этому тону, но и по выражению лица понимаю, что он остановил меня, чтобы высказать какие-то претензии или жалобы. Трудно заранее угадать, что ему от меня нужно. Сегодня только третий день учебного года, и, насколько мне известно, никаких конфликтных ситуаций на моих занятиях пока не случилось. А до экзаменов и выставления итоговых оценок еще далеко. Почему он буквально кипит от возмущения? Чем я заслужил такой гнев? Неужели среди учеников произошла серьезная ссора, а я ничего не знаю?

Мужчина был явно моложе меня, он держал в руке книгу, заложив палец между страницами. Господи, знал бы он, как я голоден и как хочу спать... Он показал мне нужное место, но без очков для чтения я мог разглядеть там только портрет Карла Маркса. Догадываюсь, что речь идет о введении в философию XIX века, совершенно пустом тексте, где несколько абзацев посвящено диалектическому материализму. Не терпящим возражений тоном, почти на грани истерики мужчина сообщает, что считает себя настоящим испанцем и настоящим гражданином, который заботится о сохранении национальных ценностей, поэтому он не позволит, чтобы его дочери внушали идеи, вступающие в противоречие со взглядами их семьи. Он формулирует свои требования более чем ясно. Я должен заранее поставить его в известность, когда намерен посвятить урок марксизму – в этот день их дочь останется дома. Потом добавляет, что о нашем разговоре не обязательно ставить кого-то в известность. Мало того, если ко мне явится его жена и скажет нечто противоположное, я не должен принимать ее слова во внимание, поскольку ответственность за воспитание их девочки несет в первую очередь отец, это для него главное в жизни, и за дочь он готов, если понадобится, даже жизнь отдать.

Он что, сейчас разрыдается?

Я слишком устал, чтобы вступать в спор с этим придурком. Поэтому решаю вести себя цинично и хлопаю его по плечу со словами:

– Не беспокойтесь. Я вырву из учебника указанную вами страницу. Мне она тоже не нравится. Только прошу, никому об этом не говорите.

Разумеется, никакую страницу я вырывать не собираюсь. Хотя, может, и вырву. Зависит от обстоятельств... А вообще-то, мне на все это плевать.

На самом деле то время, которое мне осталось прожить, я мог бы обойтись и без жалованья. На Никиту уже не уходит столько, сколько уходило раньше, а своих сбережений мне хватит, чтобы спокойно дотянуть до лета. Тогда какого черта я хожу на работу, которая меня так раздражает? Почему я должен терпеть стычки вроде сегодняшней?

Но если я не понимаю самых простых вещей, то смогу ли понять вещи более глубокие?

У меня ни на что нет ответов.

Ни на что.

13.

В такие дни, как нынешний, человек чувствует себя настолько чистым от скверны, что ему хотелось бы иметь в груди душу – некое внутреннее пространство, по которому струятся незамутненные потоки доброты, или, если описать это иначе, некий невидимый храм, расположенный между прочими органами, храм, где можно отпраздновать события, подобные необычайной моральной победе, которую я одержал сегодня. А все дело в том, что вчера вечером, вместо того чтобы готовиться к занятиям (а не надеяться в очередной раз на старые конспекты

и общие задания), я застрял в социальных сетях. И таким образом узнал, что в прошлое воскресенье водяной смерч погубил муниципальную библиотеку в городке Себолья провинции Толедо, о существовании которого я даже не подозревал. Смешанная с грязью вода уничтожила, кажется, восемьдесят процентов имеющегося там фонда. Хорошие люди тотчас открыли кампанию по сбору книг для библиотеки. Движимый внезапным зудом солидарности, я в час ночи пошел на кухню, отыскал там картонную коробку, наполнил ее самыми ценными из найденных на полках книг и днем отправил их почтой в Себолью. Как только мы вышли на улицу, Пепа несколько раз лизнула мою ладонь, и смею подозревать, что ее привлек запах благородства, исходивший от моей кожи. Я почувствовал себя хорошим человеком, еще лучше того, что оставил двухтомник Хиршбергера на площади в Вальдеморильо. По дороге домой я ощущал легкое щекотание у себя на макушке, и это наверняка было результатом прикосновения к коже моего личного венца святости. Жаль, что не случилось рядом зеркала, чтобы полюбоваться на него. Когда я попал домой, венец уже исчез. Думаю, нимб оказался плохого качества – и батареяка быстро разрядилась.

14.

Сегодня утром мы в учительской вспоминали Марту Гутьеррес. Ничего особенного, какие-то слова под кофе с бутербродами в ожидании, пока звонок снова призовет нас в классы. Не знаю, с чего начался разговор. Когда я вошел, несколько давно работающих в школе преподавателей уже говорили о покойной коллеге. Каждый припоминал какие-то связанные с ней истории, какие-то ее высказывания, и тон у всех был очень сердечный и окрашенный легкой грустью, хотя мне их печаль показалась наигранной. Только ради того, чтобы поучаствовать в общей беседе, я вспомнил необычную манеру Марты размешивать ложечкой кофе в чашке. Но никто вроде бы не заинтересовался этой деталью. Никто не поспешил подтвердить, что замечал нечто подобное.

А я представляю себе тот же круг преподавателей, которые, жуя бутерброды, будут год спустя говорить обо мне: «Он был хорошим человеком, правда, немного странным». Или: «Да, у него были свои причуды, а у кого их нет?»

Сейчас я вспоминаю то утро, когда я видел Марту Гутьеррес в последний раз. Я, как обычно, нагонял скуку на своих учеников, и тут дверь в класс открыла девушка, по лицу которой сразу стало понятно, что случилось что-то серьезное. Я кинулся за ней следом в соседнюю комнату. Марта лежала на полу, никого из учеников рядом не было, все тихо сидели по своим местам, боясь подойти к преподавательнице, у которой вдруг ни с того ни с сего подкосились ноги. Марта была в сознании, с одной ноги слетела туфля, очки валялись в метре от нее. Я склонился над ней, не зная, как поступить, и чувствуя, что оторопелые взгляды учеников следят за мной и ждут, чтобы я хоть что-нибудь сделал. Марта сказала мне шепотом, словно желая, чтобы больше никто ее не услышал, что не может пошевелить ногами. Я отправил двух ребят вниз и велел вызвать скорую. Потом снял с себя свитер и положил Марте под голову вместо подушки. Я почувствовал запах духов и увидел золотой крестик на полной шее. Попросил учеников выйти в коридор, а кого-то одного – открыть окно, подумав, что немного свежего воздуха пойдет Марте Гутьеррес на пользу. Когда мы остались вдвоем, она сказала сдавленным голосом:

– Позвони моей маме.

В аудиторию вошли еще какие-то преподаватели, а с ними наш тогдашний директор, гораздо более гуманный, чем сегодняшняя тиранша. Понятно, что уже вся школа успела всполошиться. Я не отходил от своей приятельницы и продолжал с ней говорить в надежде, что она не потеряет сознания до приезда врачей.

Марта Гутьеррес скончалась той же ночью в больнице.

Она была хорошим человеком и сильно мне помогла, особенно когда я только начал работать. У нее были свои причуды, а у кого их нет?

15.

Иногда мы с Пепой совершаем длинные прогулки. Собака должна двигаться, я тоже. Сегодня мне взбрело в голову подойти к берегу Мансанареса неподалеку от Матадеро – я надеялся увидеть там последнего в нынешнем сезоне стрижа. За последние несколько дней в нашем районе я не заметил ни одного. И подумал, что, возможно, рядом с рекой они еще остались. До будущей весны стрижи к нам не вернуться. Они бросили меня одного среди человеческой толпы, которая подавляет меня и выводит из себя. Я где-то читал, что стрижи улетают за Сахару, в Уганду и дальше, проводя большую часть своей жизни в воздухе. Именно этого и желал бы я сам: не ступать на землю и ни с кем не соприкасаться. Если бы мне было позволено выбирать – родиться человеком или стрижом, то, взвесив все за и против, я выбрал бы второе. Говорю это совершенно серьезно. Сейчас я ловил бы насекомых в африканском небе, вместо того чтобы дышать автомобильными выхлопами и позволять, чтобы мне изо дня в день трепали нервы в школе. Вот ведь прекрасная жизненная философия: вылупиться из яйца, бороздить небо в поисках пропитания, взирать на мир сверху, не терзаясь экзистенциальными вопросами, ни с кем не разговаривать по принуждению, не платить налоги, не оплачивать счета за электричество, не воображать себя венцом творения, не изобретать всякие тешащие наше самолюбие понятия вроде вечности, справедливости и чести, а потом, когда придет твой час, спокойно умереть – без помощи врачей и без похоронных ритуалов. Все это я изложил Пепе, пока мы с ней лежали на траве, что, конечно, не равноценно полету, но все равно приятно, особенно в такой теплый день, как сегодня. И Пепа выражала свое согласие с каждым моим словом, что я понял по ее взгляду и высунутому языку. А раз она со всем согласна, то стоит ли обсуждать это дальше?

16.

В тот день была одна важная новость, которую не отметили газеты. У Хромого язва наконец-то затянулась коркой. Однако он не решается содрать ее, боясь, как бы вновь не началось воспаление. И с нетерпением ждет, пока корка отвалится сама собой. Мой друг уже две недели накачивается антибиотиками. Счастливый Хромой с облегчением показал мне свое бедро, зайдя между двумя мусорными контейнерами, стоявшими на тротуаре в ряд с другими. Теперь рана выглядела гораздо лучше. Заметно уменьшилась, не требовала повязки, к тому же исчезло красноватое кольцо, окружавшее ее в тот раз, когда он, трясаясь от страха, демонстрировал мне свою болячку после возвращения из отпуска. Я искренне поздравил его и пожелал еще долгие годы наслаждаться богатством и всякими удовольствиями. Хромой в ответ назвал меня кретином, после чего остановил такси, решив угостить кретина хамоном на Королевском рынке на Гран-виа, где я в свои пятьдесят четыре года и Хромой, которому было на пару лет больше, казались в толпе юнцов старыми дедушками.

Там было шумно и тесно. Хромой достал из пиджачного кармана газетную вырезку. Так как мы с ним не виделись целую неделю, он берег ее для меня со дня публикации заметки в «Паис», то есть с прошлого вторника. Со злым огоньком в глазах он сообщил, что речь идет об инициативе, выдвинутой нашим министром здравоохранения буквально за несколько дней до отставки. Газета сообщила об этом предложении весьма кстати – по случаю Международного дня предотвращения самоубийств, который отмечался накануне. А я и знать не знал, что существует такой День. Теперь вот узнал, но это оставило меня равнодушным.

– И напрасно, поскольку тебя это касается напрямую. Ведь теперь целая армия работников будет проходить специальную подготовку, чтобы сорвать планы типов вроде тебя, которые всерьез задумали свести счеты с жизнью.

«Ну и что мне с ним теперь сделать? – подумал я. – Дать в морду? Развернуться и уйти? Поцеловать в губы?»

На самом деле эта дама-министр, пробывшая на своем высоком посту лишь несколько месяцев (причиной отставки стали нарушения, допущенные ею при получении магистерской степени), собиралась запустить программу, направленную на то, что она назвала «решением одной из проблем в сфере государственного здравоохранения». Полагаю, ее сменщица продолжит начатое той дело. Между тем Хромой с явным удовольствием зачитал мне статистические данные о самоубийствах в Испании. Цифры в процентах я не запомнил, уяснив себе только, что у нас они ниже среднемировых.

– Даже в этом мы отстаем от других, – заметил я.

А потом задумался: как, интересно знать, они собираются отговаривать меня исполнить задуманное? Умаслить, дав денег из государственного кармана? Засунуть в психушку? Или станут засылать ко мне домой каждое утро какого-нибудь барда, чтобы он пел «Спасибо тебе, жизнь!»? Но Хромой меня не слушал. Он увлекся газетной заметкой. И я попросил официанта принести нам еще по пиву.

Министерская программа направлена на раннее обнаружение признаков того, что сами они на своем казенном языке называют «формированием идеи суицида», для чего требуется участие людей из близкого окружения будущего самоубийцы.

– Получается, что, если ты им не настучишь, – заявил я, – они никак не смогут меня вычислить.

Моя мама медленно увядала в своих сенильных сумерках. Мой брат с удовольствием помог бы мне поскорее убить себя. Моя бывшая жена откупорит бутылку кавы, получив чудесное известие о моей трагической кончине. Мои коллеги по школе, возможно, потратят во время перемены минуту-другую на разговор обо мне. Мой сын постарается в первую очередь узнать, что я оставил ему в наследство, и вряд ли его заинтересует что-то еще. Таким образом министерство не может рассчитывать на меня в погоне за снижением статистических данных по самоубийствам.

А еще Хромой рассказал о существовании Испанского общества суицидологии, созданного также для предотвращения самоубийств. Согласно рекомендациям Общества, мы должны с особым вниманием относиться к любому человеку из нашего окружения, на лице которого вдруг отразится желание выброситься из окна. Если рассуждать здраво, то вовремя принятые меры, пожалуй, могут и сработать, но только когда речь идет о подростках. А вот начиная с определенного возраста человеку никто не помешает совершить нечто подобное – ни министры, ни психологи с хорошо подвешенным языком.

– Кроме того, чем больше они будут стараться разубедить человека, тем крепче он уверится в правильности своего выбора, – сказал я Хромому.

Автор заметки также пишет, что, как правило, самоубийцы не принимают решение с бухты-барахты. И я сообщил Хромому, что полностью с этим согласен. Под конец мы с ним обсудили судьбу тех несчастных, которые прыгали вниз с башен-близнецов в Нью-Йорке, чтобы не погибнуть в огне. По-моему, их поведение нельзя считать самоубийством, поскольку они делали выбор не между жизнью и смертью, а между быстрой и медленной гибелью, между более и менее мучительной. Хромой с ехидной миной назвал меня философом и заказал нам еще по пиву.

17.

В самые первые годы работа в школе давалась мне настолько тяжело, что у меня даже начали выпадать волосы. От мысли, что так можно остаться и совсем лысым, я окончательно впадал в тоску. И, покидая дом, чтобы идти на уроки, не мог отделаться от страха. Иногда даже завтрак не лез мне в горло. Я боялся, что плохо подготовился к занятиям, боялся, что, стоя перед учениками, вдруг потеряю дар речи, боялся, что они будут плохо себя вести, боялся услышать жалобы от родителей или от директора, боялся, очень сильно боялся, видя, сколько волос скапливается в сливном отверстии, когда я принимаю душ.

Я ненавидел себя за то, что выбрал совершенно не подходящую для себя профессию, и мечтал о жизни, в которой всегда будет суббота. В воскресенье, по мере приближения к вечеру, мне становилось все хуже и хуже. Ночами, лежа в постели без сна, я думал, как хорошо было бы попасть под машину, подхватить какую-нибудь болезнь или что угодно еще, лишь бы получить бюллетень и не ходить в школу. Я страдал от бессонницы, и был период, когда, случалось, выпивал по бутылке вина в день, а на переменах глотал амфетамин. В безопасности я чувствовал себя только в субботу, да и то ощущение это было неустойчивым – так после окончания бури мы видим, что на горизонте уже зарождается следующая.

Как-то раз после педсовета я решился откровенно поговорить с Мартой Гутьеррес, единственной из всех коллег, кто внушал мне доверие. Я рассказал Марте то, в чем не рискнул бы признаться Амалии даже в мирные дни.

Марта стала давать мне разумные советы, делилась учебными материалами, помогала справиться с административными заморочками и подбадривала. Я не стал скрывать от нее свое желание бросить преподавание. На что она ответила:

– Каждый, кто посвятил себя этой профессии, хоть раз впадал в отчаяние.

А еще она посоветовала мне сменить обстановку и забыть на время о повседневной рутине. Например, присоединиться к небольшой группе преподавателей, которая через несколько недель отправится по программе обмена в одну из школ Бремена. Марта обрисовала эту программу в самых завлекательных красках: экскурсии с гидом, прогулки, барбекю в доме одного очень симпатичного немецкого учителя, освобождение от уроков и проверки заданий. При этом ученики станут жить в частных домах, что избавит нас от постоянного с ними общения. Короче, речь идет о завуалированной форме каникул. Посоветовавшись с Амалией, я предложение принял.

Опыт удался, ученики были очень довольны, родители благодарны, так что на следующий год, заручившись согласием Амалии – правда, на сей раз не слишком уверенным, – я снова без колебаний записался на участие в программе и даже добровольно вызвался выполнять ряд организационных функций. Среди прочего была запланирована и парходная прогулка по реке Везер. Бременская школа взяла на себя все расходы, как мы брали на себя расходы по пребыванию немецких учеников в Мадриде. Предполагалось, что два учителя, мужчина и женщина, прилично знавшие испанский, отправятся с нами в роли гидов и переводчиков. Парход двинулся вниз по течению, но, когда до моря оставалось еще довольно далеко, у верфи он развернулся на сто восемьдесят градусов и пошел обратно. Именно тогда, по пути назад, случилось странное событие – оно вспоминается мне всякий раз, когда я начинаю думать о Марте Гутьеррес, моей покровительнице, которую я воспринимал, возможно бессознательно, как своего рода замещение матери, чему способствовала и солидная разница в возрасте между нами.

По всей видимости, с ее стороны к нашим дружеским отношениям примешивалось что-то еще, о чем я не догадывался до поездки в Бремен и что, к счастью, потом не получило продолжения. Этот эпизод я воспринимаю теперь как доказательство того, насколько мало мы

способны узнать друг друга, даже если проводим вместе много часов и делимся разного рода откровениями. Я бы сказал, что внутри у нас всегда есть своего рода недоступная зона, темная комната, где каждый хранит некую постыдную правду о себе.

Вдали уже показались дома Бремена, а мы с Мартой Гутьеррес тем временем обсуждали, как удачно все получилось с нынешней программой обмена и как хорошо мы себя чувствуем в этом городе, таком далеком и таком непохожем на наш. И тут мы остались на несколько минут вдвоем на верхней палубе. Вдруг Марта схватила мою руку и рывком положила себе на грудь под распахнутым пальто. Я ничего не понял. Сначала мне показалось, что она плохо себя почувствовала, у нее закружилась голова, может даже, случился инфаркт, и моя рука нужна была ей, чтобы не упасть или показать, где у нее болит, а словами выразить это у нее не получалось. Но еще больше, чем сама эта нелепая ситуация, удивил меня ее невыносимо тоскливый взгляд. Но я не успел ничего сказать – Марта убрала мою руку со своей груди и очень быстро спустилась вниз, туда, где оставались наши ученики и пара немецких коллег.

Я ошалело смотрел на собственную ладонь, словно ожидая увидеть на ней капли крови, коготь – ну, не знаю, что еще, или какие-то следы от тела Марты Гутьеррес, или отпечаток ее одежды. Мне по-прежнему казалось, что я стал участником сцены, не поддающейся моему пониманию. Зная Марту, я не мог поверить, что она не сумела сдержать некий любовный порыв, хотя полностью этого не исключал.

И ни разу, оставаясь коллегами по школе до самой ее внезапной смерти, мы не вспоминали тот случай на корабле. Она не пыталась объяснить его, а я не просил объяснений. На следующий год Марта в последний раз участвовала в программе школьного обмена. Еще через год и я тоже отказался ехать туда – в первую очередь потому, что мне не хотелось отправляться в поездку без нее, а также потому, что постепенно научился относиться к работе спокойнее; хотя это не значило, что я улучшил свои преподавательские навыки или поборол неуверенность и страхи. Просто я начал обрастать броней непрошибаемого цинизма, помогавшей сохранить душевное здоровье и приспособливаться к обстоятельствам. Мало того, порой я даже стал получать удовольствие от вещей, которые, как считал раньше, никогда, никогда в жизни не буду способен вытерпеть.

18.

Господи, как же трудно устоять, глядя на эти узкие брючки и коротенькие юбочки, на выставленные напоказ стройные, дьявольски соблазнительные ноги под столами, а иногда даже и на края трусиков – особенно у некоторых учениц, сидящих в первом ряду.

И какой мощный соблазн исходит от этих ладных фигур, от этих еще не оформившихся до конца грудей, торчащих под тонкой тканью, от прелестных губ и распущенных волос, от изящных шеек и милых юных мордашек, над которыми так славно поработала природа.

В те дни, когда Амалия перестала раздвигать для меня ноги, я много раз был готов совершить ошибку, которая на кого угодно могла бы навлечь непоправимую беду. Но я сумел устоять, хотя, признаюсь, иногда это стоило мне бешеных усилий, ведь изо дня в день я рисковал потерять контроль над собой, как потеряла его Марта Гутьеррес на корабле в Бремене.

Однажды я остался в классе один на один с шестнадцатилетней красоткой, которая со скороспелой ловкостью пользовалась своими чарами. На уроках она взяла привычку пристально смотреть мне в глаза, и это начинало волновать меня гораздо сильнее, чем такой вполне благоразумный мужчина, каким считал себя я, способен был вынести. Так вот, эта самая ученица, от которой к тому же чудесно пахло, явилась, чтобы задать какие-то вопросы по моему предмету. Полурастегнутая блузка открывала край лифчика. Если бы она повела себя чуть настойчивее, я бы вряд ли устоял.

Мы ведь не изо льда сделаны. Как не был сделан изо льда и тот толстый, сутулый и неразговорчивый тип, который преподавал у нас этику, религию и, кажется, музыку. Я не успел с ним потеснее познакомиться, поскольку он ушел из школы (или его выгнали) вскоре после моего туда поступления. Знаю только, что он любил щупать учеников – без различия пола. Один такой отвратительный случай можно скрыть, и даже пару случаев, но у этого преподавателя, судя по всему, совсем отказали тормоза. В нынешние времена его отправили бы в тюрьму, а то и показали бы по телевизору. В начале девяностых подобные неприглядные истории – если, конечно, дело не доходило до травм и увечий – старались уладить по-тихому, а то и вовсе замолчать, чтобы спасти доброе имя школы. Этот тип долго сидел дома на больничном, а когда снова вышел на работу, на лице у него все еще были заметны синяки. По слухам, его как следует отутюжил папаша одного из учеников.

По мнению Хромого, такая кара была недостаточной. Будь сам он родителем жертвы, кастрировал бы мерзавца без наркоза. И это при том, что мой друг убежден: мужчины рождены, чтобы извергать семя – всегда и при любых обстоятельствах, однако они ни в коем случае не должны применять силу и пользоваться чьей-то беззащитностью.

– Для этого и существует на свете проституция, – говорил он. – Ты идешь, платишь что положено, сбрасываешь пар – и гуляй себе.

19.

Четвертая записка гласила:

Рядом с нами живет эксплуататор женщин, которого часто можно заметить в борделе Ла-Чоперы.

Я всю ночь не мог сомкнуть глаз. Кто-то ходил за мной по пятам и собирал компрометирующую информацию для шантажа. И как мне теперь поступить? Пойти к Амалии и все ей выложить? Или ждать публичного позора? Я уже представлял себе разоблачительные фотографии в соцсетях с указанием моего имени и точного адреса. А вдруг их приклеят скотчем к стенам домов в нашем районе или к дверям школы?

В конце концов я так распахивался, что чуть не заболел. И пришел к мысли, что, видимо, стоит решить проблему самым радикальным способом: рассказать Амалии правду, то есть попробовать растолковать ей, что я, черт возьми, мужчина и, как всякому мужчине, мне нужна женщина, иногда прямо срочно нужна. Если говорить лично обо мне, то меня вполне устраивает она, Амалия, но, раз она отказывает мужу в сексе, я вынужден как-то изворачиваться, чтобы удовлетворять свои естественные потребности, и прибегать к продажной любви. А то убогое и грязное наслаждение, которое я получал за деньги от незнакомой женщины, к тому же в сомнительных, с санитарной точки зрения, условиях, было для меня в первую очередь унижительным.

Разумеется, я пользовался презервативом. А она как думала?

Прокручивая в уме воображаемый разговор, я прекрасно знал, что никогда не отважусь предъявить Амалии подобные аргументы. Во-первых, мои рассуждения вроде бы приравнивали Амалию к проститутке. Поэтому вряд ли наш брак продлится хотя бы полминуты после таких признаний.

Как и всегда, когда мне был нужен собеседник, которому можно излить душу, я призвал Хромого. И сразу же сообщил ему, что опущенная в мой почтовый ящик записка была уже четвертой.

– Не волнуйся ты так, – сказал он, вроде бы не придав анонимке большого значения, – давай просто сменим район.

Я ответил, что вряд ли это поможет. Тот человек, который шпионит за мной, кем бы он ни был, дела своего не бросит. Мой друг спросил, нет ли у меня конкретных подозрений относительно автора записок. Я только пожал плечами.

– И что, все они адресовались именно тебе? Ни одна – твоей жене?

Я не исключал, что Амалия тоже получала анонимки, но мне об этом ничего не было известно.

– А тебе не кажется странной такая история? Если ящик открываешь ты, послания адресованы тебе, а если она – то ей? По-моему, записки пишет твоя жена. Протри наконец глаза.

20.

За ужином я часто смотрю телевизор. Это одна из привычек, которые я завел, после того как стал жить один. При Амалии телевизор был под запретом – чтобы уберечь Никиту от дурного влияния.

Одиночество, оно, как известно, более снисходительно, хотя в итоге отнимает куда больше, чем дает. Я включаю телевизор, чтобы почувствовать, что рядом со мной есть кто-то еще. Мне нравятся дикторы и ведущие, особенно женщины, потому что, когда они говорят, глядя в камеру, у меня создается впечатление, будто они обращаются лично ко мне.

А ведь они и вправду обращаются исключительно ко мне, хотя сами этого не знают. И никто этого не знает.

Пепа дремлет в своем любимом углу. Пепа – это машина, вырабатывающая сон. В свои щенячьи годы она иногда просыпалась и лаяла, заслышав шаги на лестнице. Теперь ее ничем не прошибешь. Сплошные апатия и спокойствие. Поест, справить нужду, поспать – к этому сводится вся ее жизнь. И в общем-то эта жизнь весьма похожа на мою собственную, разве что сплю я меньше, не гажу на газоны и вынужден ходить на работу.

Амалия не позволяла ей запрыгивать на диван, а я – сколько угодно, но уже на тот диван, который теперь стоит у меня в квартире. По всей видимости, собака крепко усвоила запрет Амалии и до сих пор побаивается лежать рядом со мной. Я говорю ей: «Успокойся, злодейка сюда больше никогда не придет». Зову Пепу к себе. Но она все равно отказывается. Не хочет или не понимает, а только выжидательно смотрит, и глаза у нее такие глупые, что похожи на человечьи. Не остается ничего другого, как затаскивать ее насильно, но стоит мне на минутку отойти на кухню или в туалет, как эта паршивка снова несется в свой угол.

Вчера, перескакивая с канала на канал, на шестом я наткнулся на репортаж о домах престарелых в Кастилии-Леоне, где с постояльцами плохо обращаются и держат впроголодь. Показали подпорченное мясо в пластиковых пакетах. Ведущий программы хотел было задать вопросы старику у входа в заведение. Но бедняга только и успел сказать: «Совести у них нет», – и его тут же окружили люди в белых халатах и увели внутрь.

Я всю ночь вспоминал увиденное. Как и Рауль, я одержим идеей обеспечить маме возможность достойно прожить последний отрезок жизни. Сколько лет ей осталось – год, как мне, два или четыре? Это не имеет значения. Да, надо признать, что разум ее окончательно угас, но ведь осталось тело. Чистота, соответствующее питание, доброе отношение – вот тот минимум, которого мы должны для нее требовать. И за это с нас берут немалые деньги.

Сегодня я не собирался ехать в пансионат, но после вчерашнего телерепортажа просто не мог усидеть дома. Выглядела мама хорошо. Когда мы остались в комнате вдвоем, я тщательно осмотрел ее голову, подмышки, грудь и даже интимные части тела. Надеюсь, в комнате нет скрытых камер. Не могу сказать, чтобы она пахла розами, но и неухоженной я маму не нашел. Проверил пульс, причесал, потом с помощью пинцета выдернул несколько волосков с подбородка. При мне она съела одну из принесенных мною конфет. Вторую я спрятал в ящик тумбочки, но понял, что самостоятельно она ее съесть не сможет, даже обертку не снимет. Прежде

чем уйти, я хотел получить информацию о весе мамы, а также об обедах и ужинах последних дней. Сиделка сообщила, что утром здесь был Рауль и задавал те же вопросы. Правда, их задавали и родственники других постояльцев. Стало понятно, что вчерашний репортаж на шестом канале вызвал общую панику.

– У нас заведение серьезное, – заверила меня сиделка.

Я извинился за свою подозрительность. Она не обиделась и сказала, что на моем месте вела бы себя точно так же.

21.

Когда я в первый раз объяснял в классе парадокс об Ахиллесе и черепахе, он вызвал среди учеников бурные споры. Все желали блеснуть умом и способностью к анализу. Я старался их утихомирить и дать каждому по очереди право высказаться. Как мне стало потом известно, многие продолжили дискуссию и у себя дома за ужином. Такой успех помог мне увериться в собственных педагогических талантах. К сожалению, теперь ничего подобного больше не происходит. Интерес к разгадке парадокса о быстром Ахиллесе и медлительной черепахе с каждым следующим годом заметно снижался. Когда-то выдумке гениального философа я посвящал целый час. Ученики были искренне увлечены, учитель тоже. С некоторого момента, когда получил распространение интернет и мир завоевали мобильные телефоны, ребят перестало волновать, сможет Ахиллес догнать черепаху или нет. Сегодня утром ситуация дошла до крайней точки. На парадокс бедного Зенона я потратил меньше десяти минут. Ни один ученик не рвался отыскать рациональное объяснение логической ловушки, никто не проявил ни малейшего к ней любопытства, никто не пожелал вступить в спор, не прозвучало ни одной шутки. У меня возникло ощущение, что передо мной сидят двадцать девять клонов моего сына Никиты.

Тогда я попробовал разобрать гипотетический силлогизм Демокрита – правда, чтобы вызвать к нему интерес, имя философа решил заменить на имя какого-нибудь известного подросткам персонажа. Получилось у меня вот что: певец Давид Бисбаль утверждает, что жители Альмерии (ими я заменил жителей Абдеры) лжецы; Давид Бисбаль – житель Альмерии, поэтому он лжет; но в таком случае неправда, что жители Альмерии – лжецы. Хорошо, Давид Бисбаль не лжет, тогда выходит, что жители Альмерии и вправду лжецы; значит, Давид Бисбаль лжет; значит... Кажется, уже после второго допущения ученики перестали следить за моими рассуждениями, хотя, вероятно, Давид Бисбаль просто вышел из моды и им до него больше нет дела.

Вечером, вернувшись домой, я ждал звонка от какого-нибудь разгневанного отца или возмущенной мамы, которые спросят меня с альмерийским акцентом, откуда я взял, что жители Альмерии – лжецы.

Недавно я прочел в газете статью о постепенном снижении коэффициента интеллекта у новых поколений. О том, что они не способны концентрировать внимание и что им надо каждые пять минут менять стимул. Проблема задела не только Испанию. Зачем стараться что-то запоминать, если все есть в *Google*? Зачем стараться постигнуть принципы того, что можно узнать или осуществить, нажав соответствующие кнопки? Зачем мучить собственный мозг, если у нас имеются машины с искусственным интеллектом? Прогнозы у меня мрачные, очень мрачные. Эти ребята закончат тем, что будут шумно приветствовать какого-нибудь диктатора. Такое обычно происходит, когда у толпы перестает развиваться критическое мышление и принятие решений делегируется той или иной высшей инстанции. Слава богу, что я до этого не доживу.

22.

Новая игрушка лежала на ковре. Мы с Амалией договорились, что не станем вмешиваться, как бы ни повернулось дело. Примерно через месяц нашему сыну исполнится три года. У нас уже не осталось сомнений: с умственным развитием у него не все в порядке. Боясь, что психолог только навредит ребенку, мы решили самостоятельно прояснить ситуацию. И с этой целью придумали следующий эксперимент.

Игрушка представляла собой деревянный куб, похожий на большую игральную кость с отверстиями на разных гранях, куда требовалось вставить деревянные же детали, покрашенные экологически чистой краской. Не помню, сколько их было точно – двенадцать или тринадцать. Каждому отверстию соответствовала своя деталь. Они были простой формы: сердечко, цилиндр, пятиугольная звезда и так далее. Это была развивающая игра, рассчитанная на детей моложе Никиты. Амалия купила ее в магазине, который специализировался на обучающих играх. Итак, мы положили куб с деталями на ковер и позвали Никиту из его комнаты. Малыш, как мы и думали, кинулся на новинку.

Условий игры мы сыну намеренно не объяснили. Пока он будет совать детали в отверстия, мы будем находиться рядом, но притворимся, что читаем, скажем, газету.

Обычно, если у Никиты что-то не получалось, мы спешили ему на помощь, а иногда, потеряв терпение, ругали его. Однажды, увидев, что он выходит с кухни, заливаясь слезами, я спросил Амалию, не отшлепала ли она сына. «Как ты мог такое подумать?» – возмутилась жена. Но на самом деле только притворилась возмущенной, чтобы я не стал докапываться до правды. Готов спорить на что угодно: Амалия тогда его ударила. «В нашем доме никто и никогда ни на кого не поднимет руки!» Эти слова мог бы без колебаний произнести и я сам. Мы с ней действительно никогда не поднимали руки ни друг на друга, ни на Никиту. Я неукоснительно соблюдал это правило с первого до последнего дня. Она же, кажется, когда меня не было дома, могла и сорваться.

Никита сразу же стал пытаться вставить детали в куб. Иначе говоря, суть игры малыш понимал. И даже быстро добился успеха, ловко управившись с деталью в форме диска, так что Амалия немедленно толкнула меня локтем в бок, чтобы я разделил ее торжество и словно говоря: «Ну вот, видишь, наш сын не такой отсталый, как ты утверждал». И даже успела скроить улыбку, отмечающую мой скептицизм. Но, на беду, мои неутешительные прогнозы оправдались, когда Никита принялся со всей силы пихать и другие фигуры в отверстие, предназначенное для диска. Если деталь не входила, он хватал следующую, какую угодно, вместо того чтобы искать нужную по форме. И с каждым разом все упорнее совал детали в не подходящие для них ячейки. В отличие от Амалии, я думал, что в этом случае Никита применял силу не для того, чтобы добиться своего, а чтобы наказать игрушку, которая не подчинялась его воле.

В конце концов, терпя одну неудачу за другой, он по-настоящему разозлился и отшвырнул деревянный куб к окну. Мне очень захотелось прийти к нему на помощь, но я сдержался, помня, что обещал не вмешиваться. Амалия сидела, закрыв лицо газетой.

23.

Слезы Амалии огорчали меня далеко не всегда. Случалось, я смотрел на плачущую жену даже с явным удовольствием.

Как это было незадолго до нашего разрыва или вскоре после развода – когда она плакала по разным поводам и не всегда из-за меня. Смотрел со злым удовольствием? Возможно. Потому что слезы придают женским лицам особую привлекательность. Ладно, не буду преувеличивать: не всем, конечно, женским лицам, а только некоторым. А вообще, мне не нравится

видеть плачущих людей, хотя кое у кого это получается очень эффектно. Я имею в виду чисто эстетическое впечатление. Правда, такая мысль засела у меня в голове после того, как я где-то, не помню где, подобное суждение услышал или прочитал. Я поделился им с Хромым, и он одобрительно похлопал меня по плечу:

– Черт побери, наконец-то слышу от тебя что-то разумное. А то я уже начал беспокоиться.

Время спустя, после нашего с Амалией развода, я столкнулся на улице с ее матерью. Такие встречи с бывшей тещей нельзя было считать неожиданными, поскольку, овдовев, она переехала жить в район, где находилась ветеринарная клиника, куда я водил Пепу. Старуха хотела пройти мимо, не поздоровавшись. Но я преградил ей путь и спокойно, но решительно спросил, что она против меня имеет. С обиженным видом, не глядя мне в глаза, она заявила, что и она, и ее псориазный муж, царствие ему небесное, считали наш развод с Амалией безусловной победой их дочери. Еще бы! С учетом решения судьи теща имела все основания для подобного вывода. У меня появился соблазн поздравить святошу и сказать: «Ваш внук не был крещен, ваша дочка не верит в Бога, она спит с женщинами и всю жизнь голосовала за социалистов». Но я промолчал. Что я выиграю, с дьявольской жестокостью отомстив старой дуре, которая в свои семьдесят с лишним лет уверена, что после смерти ей уготованы вечное спасение и райские улады?

Значит, ее дочь победила? Ну-ну... Помню, как пресловутая победительница, считавшая освобождение от меня счастьем (есть слова, которые мы никогда не забываем), однажды в воскресенье часов в одиннадцать утра позвонила в домофон и сказала, что нам надо поговорить. «Срочно», – добавила Амалия таким тоном, что я подумал, не сошла ли она с ума. В любом случае моя бывшая была сильно взвинчена. Неужели ей не пришло в голову, что я мог быть не один? Но я был один. На самом деле я всегда был один – даже когда жил с ней, и особенно когда жил с ней.

Клянусь, знай я заранее о визите Амалии, нанял бы какую-нибудь эскортницу и хорошо заплатил бы ей, чтобы изображала мою любовницу. «Познакомься, это Хулия (или Ирина, или Николета). Ты можешь спокойно говорить при ней. У меня от нее секретов нет».

Амалия вошла в прихожую, не дожидаясь приглашения и не чмокнув меня в знак приветствия. Контраст между ее холодностью и восторгом, с каким встретила гостью Пепу, был разительным. Собака с безумной радостью кинулась к Амалии, поставила лапы ей на бедра и подняла морду, пытаясь дотянуться языком до подбородка, губ и шеи. Лицо Амалии исказила гримаса брезгливости. Она резко подняла руки, словно на нее напали грабители, не желая даже дотронуться до собаки и возмущаясь тем, что собака дотронулась до нее. Я же на несколько секунд дольше, чем следовало, наслаждался этим зрелищем и не спешил отогнать Пепу.

Но тут Амалию словно прорвало: она говорила торопливо, размахивала руками и жаловалась, дав волю слезам, которые ее, вне всякого сомнения, красили. Интересно знать, а сдерживала ли она свои эмоции, оставаясь наедине с Тамарой, или Лупитой, или Дженни? Должен признать: бегущие по лицу слезы с разводами туши придавали Амалии неотразимую прелесть, так что, не знай я ее сволочного характера, мог бы в этот миг отчаянно влюбиться.

Мимо моего внимания не прошла и новая короткая стрижка. Мне больше нравились прежние длинные волосы, покрашенные в удачно подобранный цвет, которые падали ей на плечи и даже в сорок лет делали похожей на симпатичную молодую девушку. Сейчас она выглядела ровно на свой возраст – красивая зрелая дама, скрывающая следы прожитых лет под умелым макияжем, а целлюлит – под элегантною одеждой. Фигуру она тоже сумела сохранить – благодаря пилатесу, здоровому образу жизни, овощной диете и тому подобным фокусам.

На радио Амалия, когда ведет свою передачу, говорит отчетливо, спокойно, без милого женского кокетства. А в то утро у меня дома она извергала потоки слов, то и дело срываясь на крик, как уличная торговка, визгливо зазывающая покупателей. И явно потеряла над собой контроль.

– Ты слышишь или нет? Твой сын меня ударил.

У внешних уголков ее глаз образовались сеточки морщин. Пока мы оставались вместе, тратя время и силы на то, чтобы портить друг другу жизнь, я их не замечал.

24.

Совместная жизнь с этой умной женщиной превратилась для меня в бесконечную череду унижений. Амалия считалась не только умной, но и успешной: на радио у нее была своя программа, она пользовалась уважением в обществе и зарабатывала больше, чем я. Порой, когда мне хочется всколыхнуть свои обиды, я включаю радио и ищу ее голос. А пока слушаю, оглядываюсь по сторонам, смотрю на ужасные стены своей квартиры, на убогую мебель, безвкусные картины и вдруг испытываю дикое желание выброситься из окна.

Я остро сознаю собственную неполноценность, но ненавижу, когда мне о ней то и дело напоминают. Всякое сравнение наших с Амалией интеллектуальных способностей закончится не в мою пользу. У меня лучше развито логическое мышление, и я больше читал. Но первое применимо лишь в особых случаях, и от него нет никакого толку, когда речь идет о повседневной жизни или о попытках применить его в пылу супружеских ссор. Любой упрек Амалии (что я скучный, занудливый, малообщительный), или вовремя пролитые слезы, или быстрота словесной реакции оказываются на поле боя бесконечно действеннее, чем мое стремление неспешно развить и как можно доходчивее изложить собственную точку зрения.

А еще мне сильно вредила тяга к абстракциям: уже в самом начале спора я запутывался в преамбулах, отступлениях и уточнениях – все это Амалия одной-единственной и простой фразой разметала, как внезапный порыв ветра разметает кучу сухих листьев. Она не прочла и трети того, что читал я. Она читала главным образом романы, газетные новости и женские журналы, почти всегда делала это в постели и нередко засыпала, держа открытыми книгу или журнал в руках. Тем не менее, как мне кажется, Амалия извлекала из своего чтения гораздо больше пользы – может, лучше запоминала прочитанное, может, лучше просчитывала, как и когда вставить в разговор нужные сведения.

В ее культурном багаже имелись огромные лакуны. Но у кого их нет? Однако она умела ловко скрывать это за обворожительной улыбкой, или удачно меняя тему, или мило надувая накрашенные губки. Я же, напротив, стеснялся своего невежества и поэтому наверняка выглядел бледнее во мнении окружающих.

Амалия прекрасно ориентировалась в законах. Она знала, как повернуть их в свою пользу; могла ссылаться на статьи и пункты, о существовании которых мы, все остальные, даже не подозревали, и в первую очередь потому, что не брали на себя труд копаться в таких вещах или внимательно прочитать нужные бумаги. Именно она занималась нашими семейными документами, счетами, налоговыми декларациями и прочими бумажными делами, которые для меня были страшней зубной боли. В этом смысле моя большая вина состояла в том, что я ни во что не хотел вникать.

Если мы обедали или ужинали с друзьями в ресторане, Амалия никогда не упускала случая при них подпустить шпильку в мой адрес. Наверное, она делала это не со зла – просто чувствовала внутреннюю потребность показать, что ни в малейшем степени не находится у мужа в подчинении. А меня страшно коробили улыбочки, которыми отвечали сидевшие за столом на такие выпады, и если потом, когда мы оставались наедине, я признавался, что ее слова меня задела, Амалия говорила в свое оправдание, что я слишком мнительный или слишком обидчивый, и тем самым рушила последние бастионы моего самолюбия.

После развода я резко порвал отношения с нашими общими друзьями. Просто перестал звонить им, а они перестали звонить мне.

Хромой, надо добавить, не раз высказывал сомнение, что можно назвать умной женщину, которая вышла за меня замуж.

25.

Я связывал рассеянность и забывчивость нашей матери с ее возрастом. Ведь это естественные спутники старости, говорил я себе. С годами люди теряют подвижность, многое забывают, плохо видят, еще хуже слышат и не разбираются в достижениях технического прогресса. Думаю, Рауль рассуждал точно так же, иначе он поспешил бы предложить план срочной помощи маме, которую желал считать целиком и полностью своей собственностью, но вынужден был, к его сожалению, делить со мной.

Иногда мама не могла вспомнить, что ей минуту назад говорили. Или снова задавала вопрос, на который мы уже ответили. Или забывала, куда положила ту или иную вещь. Зато без малейшего напряжения рассказывала о событиях своей молодости, почему я и отгонял от себя мысль, что с головой у нее не все в порядке и дело тут не только в старости.

Первые признаки были едва заметными, но это не помешало Амалии сразу увидеть истинные корни проблемы. Мы с ней уже были погружены в долгую супружескую войну, и, как я подозревал, она клеветала на мою мать только из желания позлить меня, поскольку была уверена: именно с этого фланга можно вести атаку, гарантирующую победу. Я зверел от гнева и ругательно ругал ее родителей – только чтобы ответить ударом на удар.

Сегодня, раздумывая об этом спокойнее, я готов допустить, что правы были мы оба. Иными словами, Амалия намеренно старалась вывести меня из равновесия и поэтому сгущала краски, твердя о явных признаках умственного расстройства у свекрови. Какое-то время спустя ее подозрения, внушенные интуицией или жаждой досадить мне, но ни в коем случае не надежными познаниями в медицине, подтвердились.

Мы по-прежнему постоянно навещали как родителей Амалии, так и мою мать, в первую очередь ради того, чтобы Никита мог хотя бы несколько часов побыть с ними. Сына не приходилось слишком долго уговаривать, поскольку обе бабушки и дедушка всегда были щедры с ним. Из того и другого дома мальчишка уходил, неизменно унося в кармане определенную сумму. Если же они не торопились вручить ему деньги, Никита с детским простодушным нахальством напоминал об этом; и дед приходил в такое умиление, что порой нарочно изображал забывчивость, чтобы услышать от внука его требование.

Иногда мы втроем заезжали к моей маме, но скрывали от нее наши раздоры. На самом деле она и умерет, не узнав, что я развелся. Иногда я навещал ее с Никитой. Совсем редко Амалия бывала там без меня, хотя в их со свекровью отношениях не было и намек на симпатию и добрые чувства. Однажды, вернувшись домой, Амалия рассказала, что ее специально подкараулила соседка, чтобы рассказать о том, о чем, кажется, уже судачил весь дом. Накануне вечером мама справила нужду прямо в подъезде.

– Ну и что из того? – с вызовом спросил я.

– За последнее время это случилось уже во второй раз.

– Ну и что? У тебя есть доказательства?

По выражению ее лица было видно, что она с большим удовольствием передает мне предполагаемый разговор с соседкой. И это меня взбесило. Я говорю «предполагаемый», потому что далеко не уверен, что такой разговор на самом деле имел место. Короче, в этом случае я опять не пожелал оценить ситуацию трезво и увидеть в ней не одну только провокацию со стороны Амалии накануне нашего с ней разрыва. На мой вопрос, не для того ли она затронула эту неприятную тему, чтобы втянуть меня в очередную ссору, жена ответила предельно спокойно, но самым омерзительным тоном: рано или поздно вам с братом все-таки придется посмотреть правде в глаза.

При первой же возможности я поехал к маме. Без Никиты. Мы с ней долго рассматривали фотографии в семейном альбоме. Я не заметил в ее поведении ничего тревожного. Она всех узнавала, все помнила, рассказывала разные забавные случаи. И была такой веселой, такой спокойной, такой разговорчивой и к тому же изящно причесанной, что я решил не будоражить ее вопросами о том, как могла произойти та неприглядная история в подъезде.

26.

Голос у нее красивый, я бы сказал, бархатный. Но меня буквально выворачивает наизнанку, когда я его слышу. Наверное, поэтому и слушаю. Я часто отыскиваю по радио передачу Амалии и, улегшись на диван вместе с Пепой, начинаю ненавидеть и безотказную профессиональность ее шуток, и то, как она делает обзор новостей, и то, как берет интервью, во время которых порой с трудом скрывает, хорошо, плохо или нейтрально относится к гостю программы, и то, как читает текст, заранее написанный в таком изысканном и таком безупречном стиле, что я сомневаюсь, сама ли она его сочинила.

Никто из тех, кто увидел бы меня лежащим с закрытыми глазами на ковре или диване, не поверил бы, что в этот миг я веду жестокое сражение. С кем? В течение долгого времени я и сам не знал ответа. Но теперь совершенно уверен: мой смертельный враг – испепеляющее меня изнутри восхищение. Ведь ужасно трудно смириться с фактом, что ты вынужден признавать достоинства человека, которого ненавидишь. Поэтому я иногда слушаю радиопередачу Амалии в надежде, что она вот-вот собьется, запутается, потеряет нить, не избежит плеоназмов, некстати хихикнет, не сумеет подключиться к телефонному звонку или слушатель подловит ее на ошибке... А любая ошибка Амалии, даже самая пустяковая, вызывает у меня вспышку удовольствия.

Сегодня я слушал интервью с депутаткой от левой партии, которая называется «Подемос». Речь шла о нынешней политической ситуации. Обе дамы дружно смеялись и обращались друг к другу на «ты», словно беседовали две подружки. Они обсуждали конфликт в Каталонии, безработицу, государственный бюджет и, разумеется, коснулись равенства полов, хотя эта проблема, пока мы жили вместе, Амалию почти не волновала. Короче, поднимались те темы, которые давали депутатке возможность повторить пункты предвыборной программы своей партии и разгуляться, критикуя политических противников. Амалия часто сопровождала заявления собеседницы одобрительными возгласами. И ни разу не поспорила с ней и не попросила уточнений. А под конец поблагодарила за согласие уделить программе несколько минут «своего драгоценного времени». Днями раньше Амалия брала интервью у политика из правой Народной партии, который, как я понял, только что выпустил в свет собственную книгу. Но Амалия держалась с ним с враждебностью, едва прикрытой натужной вежливостью. Большинство вопросов было составлено так, чтобы поставить гостя в затруднительное положение – он ни в коем случае не должен был произвести на публику благоприятного впечатления. Амалия наседала на него: «Да, но ведь...», «А вам не кажется, что правые противоречат сами себе, когда?..», «А почему вы не уделяете внимания таким вопросам, как?..» Ведущая резко перебивала собеседника, когда ему удавалось убедительно отстаивать свою позицию, и вела полемику в откровенно обвинительном ключе. Дважды она упомянула дела, связывавшие его партию с криминалом или коррупционными скандалами. А прощаясь, сухо поблагодарила, после чего позволила себе с насмешкой отозваться о заглавии упомянутой книги. Если бы выборы проводились на следующий день, я бы точно проголосовал за этого бедолагу, отстаивавшего идеалы, в которых, кстати сказать, с детства воспитывалась Амалия.

Ах, Амалия, Амалия...

Изнеженная девочка из района Саламанка, теребившая свой клитор, глядя на обложку альбома *Pecos*, как она сама мне рассказывала вскоре после нашего знакомства.

Образцовая ученица школы Лоретской Богоматери на улице Принсипе де Вергара. Она никогда не убила даже мухи, не разбила ни одной тарелки и не позволяла себе никаких шалостей.

Девочка, не пропустившая ни одной мессы. Собиравшая коллекцию скапуляриев и образов с изображениями святых. Спавшая на кровати, над изголовьем которой висело распятие, и любившая сооружать алтари из цветов в гостиной их дома.

В 1975-м она взяла за руку сестру, и обе девочки, одетые в черные пальто, вместе с родителями прошествовали мимо гроба генералиссимуса Франко, выставленного в Колонном зале Королевского дворца. И было это в тот же самый день, когда мой отец-коммунист поднял бокал шампанского, а мама просила его:

– Говори потише, Грегорио, тебя ведь могут услышать.

27.

Еще не прошло и года, как мы перестали жить под одной крышей. С Никитой я виделся, соглашаясь с пунктами, прописанными в решении судьи. И меня при встречах с сыном начало посещать странное чувство. Казалось, что теперь, лишившись права опеки над ним, я стал чувствовать Никиту не таким моим, как прежде. Отныне я должен был взвешивать каждое свое слово, чтобы он не обиделся, не рассердился и не отказался приходить ко мне. Я мог общаться с ним только в позволенные часы, как будто шел в библиотеку и брал книгу, которую в должный срок непременно следовало вернуть.

«Если бы он по-настоящему меня любил, – думал я, – ничто не помешало бы ему время от времени убегать, чтобы побыть со мной». Но в таких рассуждениях не было упрека ему. Пожалуй, нас обоих устроило бы, если бы я сохранял свою власть над ним, но в меньшем объеме. У меня была своя цель: Никита должен видеть во мне не заместителя командира, а равного себе по званию, и для достижения этой цели я выработал собственную стратегию. Надо оставить целиком и полностью за Амалией задачу внушать сыну какие-то правила и устраивать ему взбучки, когда требуется или когда она теряет терпение. Амалия много курила, но сыну курить запрещала. Я курить бросил, однако давал ему денег на пачку-другую сигарет, хотя и понимал, что совершаю педагогическую ошибку.

Мы сохраняли с ним довольно близкие отношения. И тем не менее иногда я вдруг задумывался о том, что мальчишка превращается в незнакомого мне человека, и было грустно и больно думать, что точно так же он мог с некоторых пор воспринимать и меня. Во время наших встреч нам случалось подолгу молчать. Или я что-то говорил, а он сидел, уткнувшись в экран мобильного, чего при иных обстоятельствах я бы не стерпел. Как-то дождливым днем Никита выглядел более вялым, чем всегда, и я уговорил его пойти в кино. Но где-то в середине фильма заметил, что он спит.

Через год после того, как я поселился в Ла-Гиндалере, Никита как-то рывком вытянулся и по росту уже догонял меня. Трудно было к такому привыкнуть, но теперь при разговоре я уже не смотрю на него сверху вниз. В шестнадцать лет лицо у сына покрылось прыщами, на верхней губе наметился пушок – такой же редкий, как у Раулиты в том же возрасте. Голос стал ниже, жесты – ровнее, они утратили живость и изящество. Он терпел, когда я его обнимал, но решительно не позволял целовать себя в щеку. Зато к Пепе проявлял больше нежности.

Сына мне было жаль. И жаль до сих пор. Глядя на него, я говорю себе: «До чего же этому парню всю жизнь не везло». Амалия посылала Никиту ко мне, а я потом отправлял обратно – мы словно гоняли теннисный мяч на корте. Если бы он родился в другой семье, в другие времена, в другой стране... из него мог бы вырасти совсем другой человек. Хотя кто знает... Поди тут угадай. Иногда я со странным чувством смотрю, как он уходит. Смотрю на его спину, затылок, неуклюжую походку и начинаю воображать, будто я – это мой отец, а Никита вдруг

превращается в подростка, каким был когда-то я сам, и тогда жалость к нему усиливается, хотя вряд ли мои чувства к сыну похожи на те, что испытывал ко мне отец.

Сейчас я вспомнил одну субботу, когда мы с Никитой отправились к бабушке. Наступила моя очередь взять его к себе, и я пребывал в некоторой тревоге, поскольку он вступил в тот возраст, когда с друзьями-приятелями ему было куда лучше и веселее, чем со мной. Больше всего я боялся, что в моей компании он будет попросту скучать. В ту пору у меня еще была надежда завоевать его любовь, о чем сегодня я думаю гораздо меньше. Если ему придет охота увидеться со мной – он знает, где я живу. Но тогда ситуация была иной, так как наш развод с Амалией еще оставался для всех троих свежей раной. Я старался сделать так, чтобы развал семьи прошел как можно менее болезненно для сына. И был одержим желанием не остаться в его памяти плохим отцом или примером мужчины, потерпевшего полный жизненный крах.

Итак, дело было в субботу. Никита приехал ко мне в условленный час. Мы договорились, что я куплю билеты на футбол на стадион «Висенте Кальдерон». Я не страстный поклонник футбола, но решил, что если внушу Никите любовь к «Атлетико», хотя сам скорее притворялся заядлым болельщиком этой команды, то мне удастся укрепить некую связь с сыном – вне сферы влияния его матери. А заодно пробудить в нем потребность больше времени проводить со мной. Потом мы могли бы ходить и на другие стадионы. Я рассказал Никите, что его покойный дед Грегорио безумно любил бело-красных, хотя это было явным преувеличением с моей стороны, но не совсем. Слово «любил», как мне показалось, скорее испугало Никиту. Напрасно я пытался отыскать на его лице хотя бы намек на энтузиазм, но все-таки добился от сына согласия пойти со мной на матч «Атлетико» с «Нумансией». Я надеялся, что он произведет на него должный эффект, какого невозможно достичь никакими описаниями.

Мама ждала нас у себя к двум часам. Никита радовался при мысли, что бабушка, как всегда, постарается приготовить одно из его любимых блюд, а на прощание щедро отблагодарит за визит. С этой стороны проблем не возникло. По дороге он сообщил, что договорился завтра утром встретиться с друзьями, чтобы остаток воскресенья провести в их компании, а потом в положенное время вернуться домой, то есть к матери. Я без колебаний одобрил его план, решив проявить полное понимание. А если уж говорить честно, тотчас прикинул: тогда в моем распоряжении останется целый день для подготовки к занятиям.

Однако была тут одна загвоздка. По настоятельной просьбе Амалии, которая считала, что у Никиты большие проблемы с психикой, я должен был поговорить с ним «как мужчина с мужчиной» о его недавнем нападении на мать и найти «нужные слова», чтобы объяснить: насилием никаких проблем решить нельзя, в чем, кстати сказать, сам я не был до конца уверен. Мне следовало бы спросить у бывшей жены, неужели она не способна без посторонней помощи воспитывать нашего расчудесного отпрыска. Только зачем? Выходит, она сама стала главной жертвой собственной юридической победы. А мне было в тысячу раз легче заботиться о ласковой и послушной собаке, чем о сыне, который с каждым днем становился все более неуправляемым.

Я совершил глупость, пообещав Амалии вправить мозги Никите, хотя такой разговор запросто мог обернуться ужасной ссорой и испортить нам выходные. Слишком поздно я сообщил, что следовало потребовать у нее какое-то другое время для этой беседы, а не терять часы, которые в судебном порядке выделены нам для свиданий. Таких часов не так уж и много, чтобы тратить их на разборку сложных отношений Никиты с матерью. Мне хотелось побыстрее выполнить обещание. Вернее, побыстрее скинуть с себя этот груз. К тому же я боялся, что сын психанет и уедет от меня. Всю субботу я ждал подходящего момента и придумывал, как бы так исхитриться, чтобы и отругать его, и не разозлить.

Легко вообразить, в каком я был раздрае, если чуть не решился пойти на подкуп: «Послушай, маленький негодяй, я стану давать тебе по двадцать евро в конце того месяца, когда ты ни разу не ударишь мать».

Пока мы собирались выйти из дому, я думал о своей маме. Бедная, она не заслуживает, чтобы мы явились к ней, дуясь друг на друга. А еще я рассудил так: не стоит рисковать, ведь Никита, получив нагоняй, может из вредности отказаться пойти на матч с «Нумансией». И слава богу, что я промолчал, потому что «Атлетико» выиграл со счетом 3:0, и мальчишка радовался как безумный. Домой мы вернулись уже после одиннадцати. Время было не слишком подходящее для семейных ссор, и я отложил «мужской разговор» до утра.

28.

Никита обвинил меня в том, что я не боролся за него по-настоящему. Мне еще не доводилось видеть сына в таком состоянии. Он внезапно принялся как безумный размахивать руками, выпучив глаза, которые теперь сверкали гневом, – это у него-то, у мальчишки, привыкшего смотреть на мир из-под полуопущенных век, словно он не выспался или страдает от хронической скуки. Я смотрел на его сжатые зубы и нервные руки – они никак не вязались с той природной невозмутимостью, к которой мы успели привыкнуть. Неужели сын так изменился всего за год? Никита завтракал, сидя за столом напротив меня, и выглядел сонным – но только пока я не коснулся неприятной темы, черт бы ее побрал. И тогда он неожиданно взорвался.

Ярость, исказившая его черты, заставила меня вспомнить моего отца, и признаюсь, я даже испытал мгновенную вспышку гордости. Словно между дедом и внуком вдруг установилась связь через некий мост, обладающий жизненной силой и перекинутый через реку с неспешными водами, такими неспешными, что кажется, будто они вовсе не движутся, а они и вправду не движутся или, вернее, медленно текут то вперед, то назад, потому что течь им некуда. И в этой цепочке, состоявшей из трех мужчин, им двоим выпало быть берегами, а мне – рекой.

Я сослался на решение судьи. Никита выругался:

– Сука!

– Ты что, и с матерью на таком же языке разговариваешь?

Он не ответил. По его мнению, женщины всегда помогают друг другу, чтобы напакостить мужчинам, а я должен был это знать и учитывать.

– Выбрать можно адвоката, а судью – нельзя, – возразил я. И потом добавил: – Нравится нам это или нет, но они защищают интересы несовершеннолетних.

– Да? Только вот моим мнением никто почему-то не поинтересовался.

Сердито сдвинув брови, Никита твердил, что я оставил его одного с матерью, которую он снова принялся обзывать разными непристойными словами. Сказал, что терпеть ее не может, ненавидит, и все тут.

– Не смей так говорить!

Он огрызнулся:

– Я буду говорить то, что захочет моя задница. – И еще раз повторил, что ненавидит мать и не сегодня завтра смоемся из дому.

Господи, да что он знает в свои шестнадцать лет о смывании из дому? И вообще, хоть о чем-нибудь что-нибудь знает? Потом Никита обвинил меня в том, что я его не люблю. И с самого рождения не любил. Он был в этом уверен и в доказательство сослался на мнение Амалии, которая тоже так считала, а может, сама и внушила эту мысль нашему сыну. Потом добавил с напускной грустью, что я отдаю явное предпочтение Пепе. То есть о Пепе действительно забочусь, а о нем – считай что нет. – Подожди, подожди, ведь только вчера мы вместе ходили на футбол. И конечно, я хотел бы проводить с тобой больше времени, но не забывай, что для нас это время заранее четко определено.

Вместо того чтобы отругать его, как предполагалось, я не переставал оправдываться, и на самом деле это он устроил мне разнос, а не я ему. Внутри у меня все пылало от злобы на

Амалию, которая поссорила нас с сыном и испортила нам выходные. Я решил сбить напряжение и примирительным тоном предложил Никите еще чашку кофе. Он не ответил. Утренний свет, проникавший сквозь окно на кухню, безжалостно выставлял напоказ прыщи у него на лбу и щеках.

Он твердо заявил, при этом вроде бы попытавшись заглянуть мне поглубже в глаза:

– Я мать не бил.

– Но она говорит...

– Врет.

Он всего лишь оттолкнул ее – в порядке самозащиты. Амалия, оказывается, встала в двери и не выпускала его, но я таких подробностей не знал.

– Она меня наказывает, запрещает выходить. Велит рано ложиться спать, а сама возвращается поздно ночью, я же все слышу.

Потом он спросил с такой миной, словно бросал вызов: неужели я не знаю, что она мне изменяет. Я напомнил ему, что невозможно говорить о какой-то там измене, если мы с ней в разводе. Видимо, после моего ответа он решил не продолжать разговор в этом направлении. Зато обвинил мать в том, что она ябедничает. А как бы иначе я узнал об их недавней стычке?

– И вообще, я вам обоим только мешаю.

Я хотел было возразить, но сдержался, поняв, что если мы сейчас не прекратим спорить, то дойдем до точки невозврата. Поэтому всего лишь сказал с важным видом и напускной строгостью, что ни его мать, ни я не являемся сторонниками насилия, поэтому я приказываю ему, вернее прошу – тоже воздерживаться от него.

Он ничего не ответил. Завтрак мы заканчивали молча. Потом я дал ему двадцать евро, он быстро собрался и, даже не обняв меня на прощанье, отправился к друзьям.

29.

Не дождавшись, пока я заберу все свои вещи, Амалия поменяла замок. Вообще-то, я знал, что должен буду отдать ей ключи, поэтому тайком сделал копии и с ключа от квартиры, и с ключа от подъезда. Однако она меня опередила. Амалию всегда преследовали самые разные страхи и опасения, часто преувеличенные, из-за чего она в любой ситуации проявляла – думаю, и сейчас проявляет – чрезмерную предусмотрительность. Это можно заметить даже по ее передаче на радио. Она обожает брать интервью у женщин, которых изнасиловали, избили, выгнали из дому, а также у женщин – иногда и у мужчин, – которые потеряли все или стали жертвами дикой несправедливости. Один из ее обязательных вопросов такой: «А как можно было этого избежать?»

Зная, что она находится на работе, а сын в школе, я решил проникнуть в квартиру и увезти оставшееся. А заодно, не стану скрывать, еще и поразнюхать, что там происходит. Я стоял перед запертой дверью и, как это ни глупо, думал, что слесарь изготовил мне плохую копию ключа.

Мое имя уже исчезло с почтового ящика.

Мне было больно сознавать, что меня изгнали из дома, еще недавно бывшего моим.

Даже в те дни, когда Амалия особенно упорно настаивала на официальном оформлении развода, я придерживался мнения – о чем ей и сообщил, – что мы с ней должны сохранить дружеские отношения. Это будет разумно, а главное, обеспечит нашему сыну эмоциональную устойчивость. Но Амалия вечно чего-то опасалась, и желание подстраховаться мешало ей поверить моим словам. На самом деле она стала относиться ко мне еще враждебнее, увидев в моих словах чистый расчет: я, по ее мнению, планирую навредить ей как можно больше.

Дверь, через которую я столько лет входил и выходил, превратилась в неодолимую преграду. Я задыхался от злобы и негодования. Из-за резкого выброса адреналина я готов был

поступить самым решительным образом – то есть вышибить дверь. И, спустившись на улицу, стал обдумывать способы мести.

В то время я нашел приют у Хромого – жил в его квартире, пока подыскивал себе съемное жилье. Кроме того, для меня начинался еще и период финансовой неустойчивости. Если из учительского жалования вычесть деньги на аренду и алименты, то на остаток особо не пощикуешь.

Я мог бы, конечно, пожить у мамы, хотя в ее умственных способностях уже наметились первые провалы. Но не хотелось, чтобы она узнала о моем разводе, как не хотелось и того, чтобы Рауль, приехав ее навестить, застал меня выходящим из ванной в халате и тапочках.

Я прикинул, не снять ли квартиру на паях с кем-нибудь еще. Или перебраться в пригород.

Убедившись, что ключ не входит в замочную скважину, я почувствовал себя как умирающий, у которого отняли кислородную подушку. На следующий день, заехав к маме, я дождался, пока она задремала в кресле-качалке, пошел в спальню и набрал целую горсть снотворных и других таблеток разных цветов и размеров, ссыпав их в один из пакетиков, которые брал с собой на прогулки с Пепой. И при первой же возможности снова отправился к квартире Амалии. Она у меня узнает! Сидя на коврике перед дверью, я вообразил, как бывшая жена обнаружит мой труп. Жаль, что мне уже нельзя будет увидеть ее лица или услышать крика! Я достал пакетик и высыпал его содержимое на ладонь. Но тут мне пришло в голову, что Никита может вернуться домой раньше матери. Честно сказать, я не хотел бы, чтобы сын на всю жизнь запомнил меня вот таким – лежащим на полу с гримасой отчаяния, не хотел бы, чтобы ему пришлось отвечать на вопросы полицейских. А еще я подумал, что у мамы могут возникнуть проблемы из-за того, что я забрал ее лекарства. Да и куда, собственно, торопиться? Короче, от моей решимости не осталось и следа. Я встал. Снаружи было ярко-синее небо. И я увидел там, между двух зданий, стремительные силуэты стрижей. Неужели я собирался расстаться с жизнью, чтобы порадовать эту идиотку? Ну уж нет! Дудки!

30.

Итак, я жил тогда у Хромого и сказал ему, что, на мой взгляд, Амалия сменила замок из чистого страха. Он сразу со мной согласился. А затем изложил свою теорию, которая в общем и целом сводилась к следующему:

– Страх лежит в основе женской логики. Из-за страха женщина стала такой, какая она есть, и мыслит так, как мыслит, и ведет себя так, как ведет. Все из-за страха. Он у нее инстинктивный, генетический, и в первую очередь это страх перед мужчиной, в котором она видит прежде всего агрессора и которого хочет приручить, а если получится, еще и кастрировать. Но, выполнив задуманное, вдруг соображает, что делать этого не стоило, поскольку женщина без своего страха – пустое место. Сам увидишь: твоя бывшая очень быстро найдет мужика, чтобы к нему прислониться. Станет кружить ему голову ароматом своих духов, говорить на ухо нежности и предлагать себя в качестве машины для оргазмов – а в обмен получит телохранителя.

Разъяснив свою позицию, Хромой захотел услышать и мое мнение. Я ответил, что пребываю не в том настроении, чтобы вступать с ним в дискуссию.

Октябрь

1.

Вчера вечером нам сообщили, что сегодня будет тридцать градусов жары, а в Каталонии ожидаются волнения, и оба прогноза сбылись. Я прислушиваюсь к разговорам коллег в учительской, но твердо решил свое мнение оставить при себе. Сразу выясняется, что по каталонскому вопросу и в нашей школе тоже существуют две полярных позиции, и каждый непременно ориентируется на один из полюсов, хотя и с разной степенью приближения к нему. По одну сторону барьера находятся те, кто говорят, что от каталонской проблемы они устали (более того: сыты по горло; еще более того: их этой проблемой уже просто затрахали) и поэтому готовы согласиться с любым решением – вплоть до раздробления Испании. Пусть всякий сидит на причитающемся ему куске земли и не возникает. По другую сторону барьера стоят те, кто сперва заявляли о своей приверженности демократическим принципам и о том, что главное для них – спокойствие и толерантность, а потом стали требовать самых, что называется, решительных мер, хотя степень этой решительности понимают по-разному: начиная с немедленного применения 155-й статьи Конституции⁷, включая отмену *sine die*⁸ автономии Каталонии, и до введения туда армии, как это уже делалось в былые времена.

Я смотрю на лица спорящих, на выражения их глаз. И спрашиваю себя: «Что я делаю тут, среди этих обезьян? Что вообще делаю в этом мире? Какое мне дело до всех этих глупостей, до нынешних политических дрызг?» Лучше буду помалкивать, пока какой-нибудь зануда не обратится ко мне напрямую, и тогда постараюсь отделаться уклончивыми фразами. Но тут кто-то решается напомнить еще и про волшебное, по-видимому, средство под названием «диалог». Однако призыв к диалогу звучит слишком расплывчато и даже, я бы сказал, лицемерно – как способ выиграть время и дожидаться, пока страсти поутихнут и пламя раздора угаснет само собой. К тем, кто требует решительных мер, присоединяется и директриса. Наша начальница заявляет, что сперва нужно любой ценой защитить закон, а уж потом вести переговоры. Именно в таком порядке, а не наоборот. А ее-то кто просил вмешиваться? Но ей никто не возражает. Не важно, о чем говорит эта сеньора – о погоде, выращивании винограда или ценах на рыбу. Все только кивают, потому что ее мнение звучит с начальственных высот. Короче, дискуссия прекращается после резолюции директрисы. Тут звенит звонок, и, направляясь в класс, я слышу, как два моих коллеги в коридоре возвращаются к разговору о Каталонии. Один из них говорит:

– Если будет хоть один погибший, нам не избежать такой же бучи, как в тридцать шестом.

2.

Я раздумываю о вчерашнем споре и о том, что люди в остальных частях Испании смотрят на Каталонию исключительно через экран телевизора (стычки, флаги, резиновые дубинки).

Они словно слышат сквозь стену ссору в соседней квартире, с досадой качают головой и тихо жалуются на шум, но не выходят на улицу, чтобы защитить целостность своей страны.

⁷ Статья 155 Конституции Испании предполагает ограничение прав автономии плюс применение мер, которые оговариваются в каждом конкретном случае. Ограничение прав может быть как полным (полное и прямое подчинение центру), так и мягким (ограниченным). Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября 2017 г. приняло решение применить 155-ю статью для разрешения каталонского кризиса и возвращения ситуации в этом автономном сообществе в законное русло.

⁸ На неопределенный срок (*лат.*).

Все это навело меня на мысли об отце. Он ведь разочаровался в политике и вышел из партии через два года после ее легализации.

– Неужели я для этого рисковал своей шкурой? – жаловался он. – Чтобы жить под прежним флагом и с прежним гимном? Чтобы была восстановлена монархия? К тому же и эта наша конституция – полное говно!

На самом-то деле папа мечтал о такой Испании, какой она была при Франко, но чтобы во главе ее стоял коммунист, а не ультракатолик и военный. Он наивно полагал, что народ дружно проголосует за коммунистов, как только будут объявлены свободные выборы. С каким треском рухнули его надежды!

Отец был убежден, что испанцы от природы наделены стадным чувством.

– Это привыкшая к покорности толпа, они родились, чтобы подчиняться, и всегда со всем будут согласны. Думать их никто не научил. А воображения у них меньше, чем вот у этого башмака.

Я хорошо помню, что во времена моей юности каждый наш ужин был приправлен подобными комментариями. Мама пыталась его осадить:

– Грегорио, хватит тебе.

И тогда отец, надувшись, замолкал и ел, не поднимая глаз от супа, супа, в который, возможно, мама тайком плюнула; однако вскоре опять заводил все ту же пластинку:

– Не знаю другого народа, столь же чуждого революционному духу. Нашему надо принести все готовенькое – из-за границы.

Когда мне исполнилось лет одиннадцать или двенадцать, отец подарил мне «Коммунистический манифест». Я храню его до сих пор. Там имеется пафосная надпись: «От твоего отца и товарища», – а ниже стоит его подпись, словно он и был автором сего сочинения. Через несколько дней отец спросил, понравился ли мне Манифест. Я ответил, что понравился. Он попытался поговорить со мной на эту тему, но далеко мы не продвинулись. Вмешалась мама:

– Ты что, не понимаешь, что он еще ребенок?

По правде сказать, Манифест я так и не осилил. Хотя начал было, чтобы не сердить отца. Но ничего не понял и бросил где-то на пятой-шестой странице. В ту пору я с удовольствием читал только комиксы.

Сегодня мне легко представить себе, какое разочарование испытал отец по нашей с братом вине. Раулю он не дарил «Коммунистического манифеста», поскольку, когда младший сын научился читать и начал что-то соображать, наш папа уже расстался с партией. Его горький опыт я могу сравнить с тем, что сам пережил из-за Никиты. Ты стараешься передать сыну собственные взгляды на мир, какие-то ценностные ориентиры, а потом вдруг понимаешь: твои разговоры ему совершенно неинтересны, он думает о своем, и все, во что ты верил, умрет вместе с тобой – или даже раньше тебя. На самом деле нами движет эгоистическое желание продолжить себя самих в нашем потомстве. Пожалуй, мы были бы способны извлечь из собственных детей их личность, как извлекают тело зверька из шкуры, собираясь сделать чучело, и набить их опилками своего собственного я.

Как бы отреагировал папа, если бы узнал, что его внук носит на спине татуировку в виде свастики?

Хотя, кто знает, возможно, ему бы это понравилось. Дедушки и бабушки, они такие. Разрешают внукам то, что запрещали своим детям, и подобным свинским способом хотят завоевать их любовь.

3.

Мы уже все собрали, чтобы ехать на пикник, и только ждали папу, который сильно задерживался. Мама встала пораньше и приготовила картофельную тортилью и курицу в сухарях.

К тому часу, когда мы с братом проснулись, вся квартира успела пропахнуть жареным. Папа сказал, что ему надо забрать у друга какие-то бумаги, но не позднее одиннадцати он вернется, и тогда мы вчетвером поедem на нашем «Сеате-124» за город и проведем день на природе, как делали уже не раз.

Я запомнил далеко не все. Помню, что стояла жара, небо было голубым и мама очень сильно сердилась: часы показывали двенадцать, потом час, а папа все не приходил. За сущую ерунду она отругала Раулито, тот расплакался, а потом заголосил, как поросенок на бойне. С поросенком его как-то сравнил папа, а я услышал и стал повторять, дразня брата. Вскоре мама отругала и меня тоже – думаю, ради равновесия, а то Раулито мог подумать, что его она любит меньше. Еще чуть позже она подозвала нас к себе, каждого поцеловала, попросила прощения и разрешила включить телевизор, хотя обычно в такое время нам это запрещалось.

Папа не вернулся домой ни в тот день, ни в следующие. Мы с Раулито поняли, что теперь мама уже не сердилась, а горевала – глаза у нее все время были красные, словно от слез, и с нами она почти не разговаривала. А я поступил с братом жестоко: сказал ему, что папа больше никогда к нам не придет, потому что сбежал с какой-то негритянкой. На самом деле мне казалось, что я вовсе не обманываю его, а если что и придумал, то только про цвет кожи якобы замешанной в это дело женщины. Я свято верил в то, что говорил, но кроме того, хотел понять по лицу брата, как следует реагировать на известия такого рода. Раулито помчался к маме и долго всхлипывал, прижавшись к ее груди. Но главной своей цели он не добился: мама была слишком расстроена, чтобы наказать меня.

В какой-то момент я догадался, что она знает, где находится отец, но не может нам этого сказать. Прошло еще несколько дней, и как-то после обеда в квартиру вошел усталый и грязный папа, а по дому распространился неприятный запах. Родители долго о чем-то шептались. Потом отец много часов пролежал в спальне с задернутыми шторами, и мама носила ему туда настой ромашки. На работу он не ходил, а нам было велено вести себя тихо, чтобы не беспокоить папу, так как у него вроде бы болела голова. Наконец эта непонятная болезнь прошла, и он вернулся к нормальной жизни. Иногда в выходные дни, если стояла хорошая погода, наша семья отправлялась на пикник в Каса-де-Кампо. Мы с Раулито быстро забыли, что папы больше недели не было дома. Не знали, почему его не было, и не спрашивали об этом. Может, боялись, что он и вправду убежал куда-то с негритянкой или женщиной любого другого цвета.

4.

Была уже половина первого ночи, а я все искал Манифест, подаренный мне когда-то отцом. И наконец нашел на дне картонной коробки с рекламными проспектами и старыми газетами. Первым делом я проверил дарственную надпись, боясь, что она почему-нибудь исчезла. Чернила и вправду сильно выцвели, и на миг меня охватили горькие чувства, ведь я обнаружил след далекого прошлого, след своего отца. Судя по всему, Пепа угадала хозяйское настроение: она подбежала ко мне и стала тереться о мои ноги, словно стараясь утешить.

Утром при свете дня я обратил внимание на некоторые детали, которых подростком просто не заметил. А может, и заметил, но в том возрасте не мог придать им должного значения. Например, я увидел, что речь идет о мексиканском издании, датированном 1967 годом, и перевод на испанский был выполнен Венсеслао Росесом⁹. Но этот Манифест я так и не прочитал. А позднее, уже в студенческие годы, купил более современный перевод, в котором было восстановлено оригинальное название брошюры Маркса и Энгельса – «Манифест Коммунистической партии».

⁹ Венсеслао Росес Суарес (1897–1992) – испанский историк, преподаватель римского права. Будучи убежденным марксистом, был вынужден покинуть Испанию после Гражданской войны (1936–1939).

Я никогда не был истинно верующим – ни в политическом, ни в религиозном смысле. Подозреваю, что по сути это одно и то же. Я не мечтаю о вечной жизни. И не понимаю, как человеческие существа после многих веков, наполненных самыми ужасными событиями, способны по-прежнему верить в возможность социального рая на земле.

Я не католик и не марксист, я никто – просто тело, чьи дни, как и у всех смертных, сочтены. А верю я в очень немногие вещи – в те, которые доставляют мне удовольствие и которые можно видеть каждый день. Верю в такие вещи, как вода и свет. Верю в дружбу моего единственного друга и верю в стрижей, ведь они, несмотря на шум и отравленный воздух, каждый год возвращаются в наш город, хотя, боюсь, их становится все меньше.

Эти вещи не имеют ни малейшего политического или религиозного смысла, так же как, например, черный шоколад, который мне тоже нравится. Во всяком случае, они не причиняют людям никакого вреда.

А еще я верю в пользу хирургических операций, иногда верю в музыку, в доброту отдельных людей и верю в детей.

Кстати, о детях. Сегодня со мной случилась забавная история. Как это часто бывает, я повел Пепу гулять в парк Эвы Дуарте, одно из моих самых любимых мест в нашем районе. Пепе он тоже нравится. Там она резвится вместе с другими собаками, с которыми уже успела познакомиться и подружиться. Собаки, встречаясь, обнюхивают друг друга гениталии, и эта привычка приводит меня в восторг.

Обычно я выбираю скамейку на солнце, если погода прохладная, или в тени, если жарко. Читаю книгу или газету, готовлюсь к урокам, проверяю письменные работы и наблюдаю за стрижами или другими птицами, летающими у меня над головой (иногда даже делаю зарядку, потому что в парке установлены специальные тренировочные скамейки), а Пепа тем временем исследует в свое удовольствие территорию парка. Рано или поздно она устает и ложится отдохнуть рядом со мной. Неподалеку имеется огороженная площадка, посыпанная песком, где собаки могут бегать без поводка, но участок такой маленький, что бегом это назвать трудно.

У самого входа со стороны улицы Франсиско Силвелы стоит памятник Эве Дуарте, давшей свое имя парку. У его пьедестала я, покидая парк, и положил «Коммунистический манифест», подаренный мне отцом более сорока лет назад. Я по-прежнему не отказываюсь от мысли постепенно избавиться от всего, чем владею. Мы с Пепой уже дошли до уличного тротуара, когда сзади раздались детские голоса: «Сеньор! Сеньор!» Я обернулся и увидел, что за мной бегут две девочки лет семи-восьми, а может, и девяти. Одна из них, та, что повыше ростом, с восточными чертами лица, размахивала Манифестом. Они с подругой были уверены, что я его просто забыл. Благодаря их, я испытал искушение спросить, не хотят ли они оставить книгу себе, но вовремя одумался, и не потому, что текст Маркса и Энгельса кажется мне не очень подходящим для детского чтения, а потому, что, судя по возрасту девочек, они пришли в парк с родителями, которые наверняка приглядывают за ними, находясь где-то поблизости. Так вот, меньше всего на свете я хотел бы, чтобы они приняли меня за какого-то философа-извращенца, сфотографировали своими мобильниками, написали донос в полицию или выложили эти снимки в соцсети на всеобщее обозрение и мне на позор.

Снова оставшись один, я вырвал страницу с папиной надписью и бросил книгу в урну рядом с автобусной остановкой.

Потом мы с Пепой направились домой. Я спросил себя, какой смысл сохранять страницу с посвящением, которое из-за выцветших чернил стало почти нечитаемым. «От твоего отца и товарища». Я скомкал ее и бросил в следующую урну.

«Бедный папа, – подумалось мне. – Вот теперь ты умер по-настоящему».

5.

Наша семья считалась неверующей. Мы не ходили к мессе, дома у нас не было предметов культа. Тем не менее и меня, и Раулито в младенчестве крестили, а позднее мы, наряженные в смешные матросские костюмчики, вместе с другими детьми приняли первое причастие в ближайшей церкви. У меня даже осталось несколько фотографий. А у брата – ни одной, потому что я искромсал их ножницами. Такая вот детская шалость.

Надо полагать, эти церковные обряды, с точки зрения наших родителей, должны были сыграть для нас защитную роль. А мы с братом воспринимали их как чудесную игру. Потому, думаю я сейчас, что чудесно было чувствовать себя такими же, как все, то есть нормальными, а нормой во времена Франко было ходить в церковь и принимать первое причастие в матросском костюмчике, белых ботинках и со свечкой в руке. После того как я прошел обряд, мама убрала все эти вещи в шкаф, чтобы три года спустя нарядить в них Раулито, хотя и пришлось кое-что переделать, поскольку мой брат уже и в семь лет был довольно толстым. Потом, как мне смутно помнится, она продала их или отдала кому-то из соседей.

Блюдя осторожность, папа с мамой в нашем присутствии не высказывались против священников и церкви, как не комментировали и выученные нами молитвы. А еще они предупреждали, чтобы мы не болтали лишнего в школе. Ни папа, ни мама никогда не богохульствовали – не потому, что вообще не позволяли себе крепкого словца, а потому, что именно в богохульстве как таковом не видели никакого смысла. Я тоже обычно не примешиваю к ругательствам имя Бога. Те непотребные выражения, которые мне порой все же случается отпускать, похожи на отцовские. Когда я матерюсь или чертыхаюсь, это матерится и чертыхается мой отец. А когда никто не может меня услышать, я ругаюсь только для того, чтобы вообразить, будто отец на миг вселился в мое тело.

Может показаться странным, что за несколько дней до Рождества мы устраивали на комод в прихожей рождественский *белен*¹⁰. На самом деле и наши Вифлеемские ворота с чудесно сделанными фигурками, и трава, и река из серебряной фольги не имели для моих родителей никаких религиозных коннотаций. Чтобы в этом не оставалось сомнений, папа помещал над яслями латунный значок – золотые серп и молот на красном фоне. В гостиной мы ставили елку, украшенную шарами, мишурой и гирляндами из фонариков, а в новогоднюю ночь, сидя вчетвером перед телевизором, обязательно съедали каждый по двенадцать виноградин¹¹.

В тот раз виноградины были уже распределены по четырем блюдам, и тут папа, уже слегка подвыпив, ткнул пальцем в экран со словами:

– Вот сейчас покажут дом, где меня пытали.

Мама шикнула на него. Но вдруг выяснилось, что удары колокола, отсчитывающие последние мгновения уходящего года, нам решили показать не с площади Пуэрта-дель-Соль, как это было всегда. Вместо этого появилось какое-то здание в Барселоне с часами на фасаде. Папа был явно разочарован и тотчас заявил:

– Черт побери, они все поменяли. Нет, в этом доме меня не пытали.

Мама стукнула своим блюдечком по столу так, что несколько виноградин улетело.

– Грегорио, уймись. Если ты не замолчишь, я пойду спать.

¹⁰ *Рождественский белен* – одна из самых древних традиций Испании, композиция, воспроизводящая в миниатюре историю рождения Христа.

¹¹ В Испании существует обычай: пока часы бьют полночь в новогоднюю ночь, с каждым ударом необходимо съесть по одной из 12 виноградин, что, согласно поверьям, обязательно принесет удачу, благополучие и богатство.

6.

Отец несколько лет скрывал от нас с Раулито, что его держали в подвальных камерах Главного управления безопасности. Как мне теперь известно, после той новогодней ночи мама вырвала у него обещание: пока мы не вырастем, он больше ни словом не упомянет при нас о тех событиях. Однако по вине самой же мамы в памяти у меня накрепко засела мысль, что в жизни отца был эпизод, который следовало скрывать. Если бы она вела себя иначе, сдержалась бы и не заострила наше внимание на непонятных словах отца, ситуацию можно было бы легко сгладить. Ведь мальчик моего возраста, не говоря уж про шестилетнего Раулито, ничего бы не заметил, к тому же мы сидели перед телевизором, и для нас с братом главным было не пропустить нужный момент и проглотить положенные двенадцать виноградин. Все остальное пролетало мимо наших ушей.

Но мама не переставала выговаривать отцу, пока окончательно не вывела его из себя. В результате он отказался глотать «эти чертовы виноградины», на которые уже смотрел со злобой. Да и маме не пришло в голову собрать обратно на блюде свои, рассыпавшиеся по столу. Не успел прозвучать последний удар колокола, как она дала мне оплеуху за то, что я стащил одну ягоду с блюдечка брата. В четверть первого – ну, может, в двадцать минут первого – мы все отправились спать. А доска для игры в парчиси с уже приготовленными для партии фишками так и осталась стоять в гостиной. Мы слышали, как за стеной папа и мама орали друг на друга, а потом вдруг послышался мягкий шлепок, после чего голоса стихли. На следующее утро мама вышла из спальни с распухшей губой, и у меня уже не осталось никаких сомнений, что в жизни папы действительно есть секрет, о котором нельзя говорить.

Начиная со следующего года последние удары колокола по первому каналу неизменно передавали с площади Пуэрта-дель-Соль. Думаю, что, когда мы вчетвером садились перед черно-белым телевизором, папа изо всех сил старался не повторять свою фразу про пытки – наверняка мама напоминала ему о данном обещании, прежде чем дело доходило до виноградин.

Как-то в 1977 году мы с отцом шли по улице вдвоем, без мамы и Раулито, и его вдруг прорвало. Он был в страшном гневе, нижняя губа дрожала, брови сердито сдвинулись. Он буквально задыхался от ярости, от невозможности поверить в только что полученное известие: министр внутренних дел вручил Серебряную медаль за полицейскую доблесть Антонио Гонсалесу Пачеко по прозвищу Малыш Билли, тому самому инспектору полиции, который в течение одиннадцати дней пытал нашего отца в камере Главного управления безопасности, в том самом здании, откуда каждую новогоднюю ночь телекамеры показывают колокол, отбивающий последние секунды уходящего года. Мне было четырнадцать лет, и отец заявил:

– Уже пора рассказать тебе обо всем, но незачем передавать наш разговор матери, потому что это разговор чисто мужской. Понятно?

Слегка смутившись, я ответил, что да, понятно.

В те времена отец, по его словам, вроде бы не был на прицеле у Бригады социальных расследований¹². Вернее, поспешил он добавить, при диктатуре любой гражданин изначально выступает в роли подозреваемого. То есть имя отца не значилось в списках особо разыскиваемых людей. Вот что он хотел подчеркнуть. В то утро, когда мы собирались ехать на пикник, ему не повезло: он зашел домой к своему товарищу, за которым явились полицейские. Отец уже прощался. Если бы полицейские пришли хотя бы на минуту позже, они бы отца там

¹² Бригада социальных расследований (*Brigada de Investigación Social, BSI*) – тайная полиция во франкистской Испании, отвечавшая за преследование и подавление оппозиционных движений. Бригада входила в состав Главного полицейского корпуса (*CGP*).

не застали. Короче, увели обоих, «как две вишенки, соединенные палочками». Полицейские знать не знали, кто он такой, просто решили попробовать из него тоже вытянуть какую-нибудь информацию. Он это понял на первом же допросе. У отца не было с собой никаких документов. Он сообщил им свое имя, и кто-то побежал проверять эти данные. А его начали избивать.

Заправлял всем на допросе Малыш Билли. Он так гордился своим прозвищем, что несколько раз прошептал его отцу на ухо, словно хотел еще больше запугать. Я спросил, знали ли он раньше этого человека. Отец ответил: плохих людей все знают, потому что о них ходит много разных слухов, а Малыш Билли был гораздо хуже остальных. И вот теперь, в демократической стране, палач получает правительственную награду.

Папа описал мне некоторые из тех ужасных вещей, которые с ним проделывали. Но обо всех он рассказать не мог. Пока... Кое-что лучше приберечь до той поры, когда я повзрослею. Он не собирается меня запугивать, просто есть факты, которые любой отец рано или поздно должен открыть своим детям. Я узнал, что ему несколько дней не давали пить и есть. Не давали спать и не пускали в туалет. Пока он вспоминал подробности чисто физических последствий такого обращения, я внимательно разглядывал машины, людей, фасады домов – и не столько потому, что мне было неинтересно, сколько потому, что не знал, в какой закуток памяти поместить услышанное и что с ним делать потом. На самом деле я желал, чтобы он поскорее перестал лить мне в уши все эти ужасы.

Его снова и снова поднимали в комнату для допросов, мучили и отправляли обратно в камеру. Вскоре он потерял всякое представление о времени. Как-то раз Малыш Билли велел поставить отца к открытому окну и пригрозил, что сейчас «случайно вытолкнет наружу». Его по многу часов держали голым. А еще били телефонным справочником по голове – бум, бум, бум, – что вызывало сильные головные боли, которые продолжались и после освобождения. А еще у него с мочой шла кровь. Отца отпустили, дав коленом под зад, после того как вытянули ту немногую информацию, которая имелаась у любого члена партии, стоявшего во втором или третьем ряду. Малыш Билли на прощанье сказал ему примерно следующее:

– Я не хочу тебя больше здесь видеть, сраный коммуняка, и клянусь, что в следующий раз ты живым отсюда не выйдешь.

Когда мы вернулись к нашему подъезду, папа пристально посмотрел мне в глаза с высоты своего внушительного роста и резко спросил, какие выводы я извлек из его рассказа. Вопрос застал меня врасплох, и я не нашелся с ответом. Он запросто мог дать мне по физиономии, но, к счастью, успев выплеснуть наружу свое негодование, не обратил внимания на мою невнятную реакцию. Видно, решил, что после его откровений я окаменел от ужаса. Чуть позже, уже перед самой дверью нашей квартиры, отец ласково положил руку мне на плечо и взял с меня обещание, что, повзрослев, я вступлю в компартию и буду неукоснительно выполнять ее программу. Я поспешил кивнуть и не испытывал при этом ни малейших колебаний, поскольку в свои четырнадцать лет искренне мечтал стать таким же большим, сильным и безупречным, как он.

7.

Сегодняшний день был не слишком подходящим для встречи с Хромым. Утром, во время первой прогулки с Пепой, я купил свежий номер «Мундо». И сел на скамейку, чтобы почитать газету. Обычно по воскресеньям в девять утра народу в парке бывает совсем мало. А если к тому же и погода хорошая, как нынче, то вообще чувствуешь себя там распрекрасно.

Едва открыв газету, я увидел две полосы, посвященные некоему Зугану, и сразу же начал придумывать предлог, чтобы можно было не идти вечером в бар к Альфонсо. Я знаю, что Хромой каждый день читает «Мундо», как и другие газеты. А значит, не пропустит статью,

посвященную единственному осужденному по делу о теракте, получившем название «11-М»¹³. Могу себе представить, какую мину скроит мой друг, увидев сильно увеличенную фотографию одного из террористов, которые чуть не отправили его на тот свет. Я просто уверен, что Хромого целый день будет терзать фантомная боль в потерянной ноге. Поэтому лучше держаться от него подальше.

Как я прочитал, Джамал Зуган вот уже четырнадцать лет сидит в тюрьме в одиночной камере. Он по-прежнему полностью отрицает свою вину, хотя на суде, как напоминает автор статьи, было доказано, что он подложил бомбы (газета не уточняла, сколько и в какие именно электрички), а также распределял между другими участниками теракта мобильные телефоны, использованные при взрывах. И вот теперь начато расследование дела о его принадлежности к группировке заключенных-джихадистов, которые обмениваются письмами и ведут в тюрьмах пропаганду, стараясь обратить других в свою веру.

Как-то раз Хромой признался мне, что было время, когда ему по ночам снился этот самый Зуган: будто бы суд приговорил его к смертной казни, а Хромого назначил палачом. Но ему никак не удавалось казнить осужденного.

– Я выпускал в него все патроны из винтовки, он сначала падал, а потом с улыбкой вставал и выдергивал из тела пули, словно волосы. Я отсекал ему голову на гильотине – он поднимал ее и снова приставлял к шее. Я испробовал виселицу, но Зуган, раскачиваясь на веревке, насвистывал какую-то мелодию или рассуждал о погоде.

Не успел я вернуться домой, как зазвонил телефон. Хромой. Не хочу ли я пойти вместе с ним на митинг *Vox*¹⁴ в Висталегре? Или кишка тонка? Про статью в «Мундо» он даже не заикнулся. Тем лучше. В первую минуту я подумал, что было бы, пожалуй, занятно послушать речи ультраправых, их патриотические лозунги, замешанные на призывах к единству Испании и приправленные проклятиями в адрес арабов и прочих мигрантов. Но мне было лень, хотя сыграла свою роль и боязнь скомпрометировать себя. А также нежелание смешиваться с разогреченной толпой. Поэтому я воспользовался отговоркой, которую придумал недавно в парке.

У отца со мной вышла промашка, а может и нет, в зависимости от того, как на это посмотреть. Я так никогда и не попытался получить партийный билет. Но ведь повлиял на меня его собственный выход из партии. Однако искать идейную опору в противоположном лагере я тоже не испытываю ни малейшего желания.

На самом деле я уже давно являюсь членом партии ПЖБО – Партии Желających Быть Одинокими, где не занимаю никакого поста. В этой партии всего один член – я сам, хотя при этом так и не стал ее вождем.

Вся программа моей партии целиком и полностью сводится к единственному лозунгу: «Оставьте меня в покое».

8.

Следующее анонимное послание обескуражило меня своей банальностью. Однако и цель уколоть побольнее там тоже была очевидна. Вот его текст:

Темно-синий свитер, коричневые брюки и черные ботинки – одно никак не вяжется с другим. Ты одеваешься как старый дед.

Я и на самом деле в последние дни носил эти вещи.

¹³ Теракт был совершен 11 марта.

¹⁴ *Vox* («Голос», *лат.*) – ультраправая национально-консервативная политическая партия Испании, основана в 2013 г. бывшими членами Народной партии. Осенью 2017 г. число ее членов увеличилось на 20 % на фоне теракта в Барселоне и референдума за независимость Каталонии.

После предыдущей записки прошло около месяца. Новую я решил оставить в почтовом ящике и понаблюдать за поведением Амалии. Эту мысль мне подкинул Хромой. Хотя я решил для себя, что поступлю так лишь при условии, что в анонимке не будут упоминаться мои не слишком пристойные похождения, – тогда я ее, конечно, спрячу или разорву.

Что касается моей манеры одеваться, то Амалия всегда утверждала, что у меня нет собственного стиля. Никогда, даже в наши добрые времена, она не скрывала своего мнения, но пилить начинала, только если мы отправлялись куда-нибудь вместе – и особенно в места, где могли встретиться с людьми ее профессионального круга. Она боялась, что из-за моего внешнего вида и сама станет объектом шуток. В остальное время ее бдительность притуплялась. Были, разумеется, эпизодические вспышки, но они случались все реже и реже. А как только у нас начались серьезные раздоры, невнимательность жены стала перерастать в полное безразличие. Кстати сказать, не ей бы критиковать мой гардероб, поскольку одежду для меня мы всегда ходили покупать вместе. И я напрасно роюсь в памяти, отыскивая там хоть один случай, когда бы я не подчинился ее выбору. А вот комбинировал вещи я уже по своему усмотрению и должен признать, что порой по утрам в спешке хватал из шкафа первое, что попадалось под руку. В конце концов, я ведь шел на работу, а не на официальный прием или какой-нибудь шикарный праздник.

Что касается Амалии, то она всегда выходила из дому расфуфыренная, даже если собиралась всего лишь дойти до угла.

В принципе, эту записку вполне могла написать и моя жена. На нее иногда всякое накапывало. Вдруг начинала осыпать меня такими упреками, словно раньше знать не знала, что я за человек. И со временем я пришел к выводу, что, пожалуй, и вправду не знала.

Как считал Хромой, если записку написала Амалия, она постарается любым способом сделать так, чтобы ее достал из почтового ящика я. И мне захотелось испытать жену: оставить там анонимку, где осуждалась моя манера одеваться, вместе с прочей сегодняшней почтой. Я поднялся в квартиру и стал ждать. Вскоре вошла Амалия, держа в руках конверты, которые я видел в ящике полчаса назад, но ни словом не обмолвилась об анонимке.

«Значит, это она! – решил я. – И мерзавка знает, что я хожу в бордель. Как, интересно, ей удалось до этого докопаться?» И вдруг меня кольнуло подозрение: неужели Амалия находится в тайном сговоре с моим другом, с моим единственным другом?

Минут через двадцать после возвращения домой, когда оба мы были на кухне, она сказала самым естественным тоном:

– Кстати, сокровище мое, я нашла в нашем почтовом ящике вот эту бумажку. Очень надеюсь, что впредь ты будешь прислушиваться к моим советам, выбирая, что тебе надеть.

Она отвернулась и снова принялась резать лук.

9.

Я спрашиваю у Хромого, как он провел время на митинге *Vox*. И спрашиваю, естественно, не без подколки, будучи уверенным, что сейчас он начнет негодовать и бурно возмущаться лозунгами этой партии. И что я слышу? Во Дворец Висталегре пришло столько народу, что места всем не хватило, около трех тысяч остались снаружи. Он говорит совершенно серьезно, так что уже заготовленная улыбка сползает с моего лица, и я настораживаюсь.

– Они никакие не фашисты, – заявляет он, словно заранее вступая со мной в спор.

– А кто же они тогда?

Хромой согласен, что лидеры *Vox* выглядят истеричными и взбалмошными идеалистами, что порой они склонны придавать излишнее значение мужской доблести... И тем не менее под конец он говорит с явным одобрением:

– Зато они честные.

Их предвыборная программа волнует Хромого мало, хотя он и считает ее ультраправой. А вот решительное желание покончить с каталонским сепаратизмом поддерживает. И пытается объяснить мне свою позицию с помощью примера:

– Если у меня проблемы с сердцем, я иду на консультацию к кардиологу, даже если его политические взгляды отличаются от моих. Да пусть он ими хоть подавится! Я жду от него одного – чтобы он был хорошим врачом и вылечил меня. Вот ты как бы поступил, случись у тебя что-нибудь с сердцем? Пошел бы к гинекологу только потому, что вы с ним единомышленники? – И не дожидаясь ответа и не думая о том, что его могут услышать другие клиенты бара, добавляет примерно следующее: – Поверь, многим из тех, кто собрался там, во Дворце, было по фигу все то, что лидеры партии говорили про мигрантов, гидрологический план и кучу законов, которые они намерены отменить, если придут к власти. Нас с ними объединяет безотлагательное дело: надо помешать сепаратистам погубить нашу страну. И знаешь, я не удивлюсь, если на ближайших выборах *Vox* добьется хороших результатов.

Когда мы прощались на улице, Хромой погладил Пепу по голове и признался, что разделяет еще и враждебное отношение *Vox* к исламу. И только после этого спросил, читал ли я в прошлое воскресенье статью про «мерзавца, который хотел меня убить»? Я знал, что, если сокру, потом меня будет мучить совесть, поэтому, чуть помешкав, сказал правду. Да, читал и никак не могу выкинуть ее из головы.

– Думаешь, я распереживался из-за нее? – Он задал этот вопрос с вызовом, сопроводив его красноречивым жестом.

Я не стал скрывать, что именно так и думал.

– И ты был прав. С тех пор я перестал спать.

Кроме того, у него уже два дня болит нога. Видно, тоже из-за статьи. Сегодня утром она болела так сильно, что он с трудом пристегнул протез.

– Да, кстати, – вспомнил он, уже отойдя на несколько метров, – ни за что не угадаешь, кого я встретил у Висталегре.

Как я мог угадать? Он выдержал театральную паузу, словно нагнетая напряжение, а потом сообщил, что в толпе стоял Никита и размахивал испанским флагом.

– Поздравляю! – добавил Хромой. – Сразу видно, что ты хорошо его воспитал.

Я не удержался от шутки:

– Надеюсь, у него, как и у тебя, всего лишь возникли проблемы с сердцем.

Хромой засмеялся и поднял вверх большой палец, показывая, что шутку оценил.

10.

Не знаю, не знаю. Вчера, лежа в постели, я долго не мог заснуть и раздумывал о самых разных вещах. Я вижу, как крепко Хромой цепляется за жизнь. Его приступы политической лихорадки свидетельствуют, что он продолжает внимательно следить за всем происходящим на мировой сцене и вроде бы не намерен этот театр покидать. Короче, вряд ли он всерьез утверждает, что в следующем году нас с ним вместе отвезут в крематорий.

– Но уж поверь, – добавляет он, – в моем случае это случится только после роскошного траха.

Из чего я делаю вывод, что для него такие разговоры – не более чем шутка и в серьезность моего плана он тоже не верит. А я, если честно, и не хочу, чтобы он уходил из жизни вместе со мной. Он окажет мне огромную услугу, если в тот скорбный час заберет к себе Пепу, с которой они легко находят общий язык.

Их добрые отношения зародились еще тогда, когда мой друг, выйдя из больницы, страдал от сильной депрессии. И укрепились несколько лет спустя во время моего бракоразводного процесса, ведь Хромой благородно приютил меня в своей квартире. Я боялся, что он из-за

собаки откажет мне, пока я стану искать съемное жилье, соответствующее моим доходам. Я даже прикидывал возможность временно поместить Пепу в собачий приют. Хотя это совсем разные вещи: подкинуть другу собаку на несколько часов или заставить терпеть ее рядом постоянно, день и ночь. Хромой разбушевался, едва я заикнулся о приюте. Ему мой план показался жестоким и к тому же дорогим. По его словам, он согласился поселить у себя в первую очередь Пепу, а заодно – так уж и быть, в силу обстоятельств – еще и довесок в виде ее хозяина.

А еще я благодарен ему за то, что он помог мне снять квартиру и провернул сделку тайком от агентства по недвижимости, где служит, то есть все оформил самостоятельно. По простоте душевной хозяйка квартиры согласилась на невероятно выгодные для меня условия аренды. Овдовев, эта добрая сеньора уехала жить в столицу провинции, откуда была родом. Кое-кто из соседей посоветовал ей не оставлять квартиру пустой и извлечь из нее какую-нибудь прибыль, ведь был еще и риск, что на нее положит глаз какая-нибудь группировка «окупас». Хозяйка явилась в агентство, и там ее принял Хромой.

Он отговорил даму выставить квартиру на продажу под тем предлогом, будто цены на недвижимость переживают резкий спад, и сказал, что у него на примете есть очень хороший человек, учитель старших классов, который мог бы ее снять. Сеньора не имела представления, сколько стоит такая аренда. Мой друг, заботясь обо мне, взялся дать клиентке бесплатную консультацию. Стал показывать невесть какие расчеты, похимичил с цифрами и наконец назвал владелице самую высокую, по его заверениям, цену, какую можно запросить за это жилье – с учетом самых разных факторов: ситуация на рынке недвижимости, низкий спрос на аренду (ложь), а также местоположение и состояние квартиры. Он запудрил даме мозги, вворачивая в разговор специальные термины, и всячески изображал, что действует исключительно в ее интересах. Короче, уговорил сдать квартиру – восемьдесят пять квадратных метров с подземной стоянкой – за смехотворную помесечную плату. К этому надо добавить, что хозяйка все как-то забывала повесить эту плату в течение тех десяти лет, что я там прожил. Каждый раз, когда я беседовал с ней по телефону, она говорила, что очень довольна, получая доход со своей старой недвижимости. Кроме того, думаю, она радовалась тому, как пунктуально я каждый месяц перевожу деньги на ее счет.

Не менее чем утрата ноги, а также бесконечные осложнения и боли, никак не заживавшая рана и прочие беды, испытанные во время долгого сидения на больничном, моего друга терзал страх потерять работу. Хотя было уже ясно, что в будущем инвалидность не помешает ему должным образом исполнять свои служебные обязанности. Да и шеф не раз звонил ему по телефону, справлялся о здоровье и от имени хозяев агентства заверял, что, как только Хромой выздоровеет, его будут ждать на прежнем месте. Но у этих страхов имелась и другая причина. Он не решался признаться шефу, что лечится у психиатра. Однажды он мне сказал:

– Они там наверняка решат, что такого рода проблемы помешают мне справиться с работой. Сам знаешь: надо беседовать с клиентами, излучать энергию, быть напористым и выглядеть наилучшим образом...

Я время от времени навещал его – правда, возможно, не так часто, как того требовала наша давняя дружба, однако у меня тогда сложилось впечатление, будто моя компания не слишком его радовала. Я садился перед ним, но мы почти не разговаривали, вернее, я что-то говорил, а он отгораживался от меня броней апатии. В ответ на любые вопросы (про его состояние, положенную ему компенсацию или про то, оплатят ли ему протез) он упорно молчал, разглядывая носки своих тапок. Ни при встрече, ни при прощании никаких эмоций на лице Хромого не отражалось. Если в конце концов он все-таки выдавливал из себя обрывочные реплики, то произносил их едва слышным, совсем не похожим на его прежний, голосом. Однажды я принес ему коробку конфет – в знак внимания. Но несколько дней спустя увидел нераспечатанную коробку на том же месте, где ее оставил. После каждого такого посещения в мозгу у меня роились мрачные мысли: «Нет, ему уже не воспрянуть духом, не вылечиться,

жизнь его сломана...» И я шел домой, раздавленный жестокой истиной: Хромому ничем нельзя помочь.

Был и такой случай. Я, как всегда, гуляя с Пепой, оказался рядом с его домом и решил без предупреждения заглянуть к Хромому. «Раз уж я здесь, – подумалось мне, – посмотрю, что делает этот безумец». Сначала друг не обратил на собаку никакого внимания. У него довольно громко работал телевизор, где шла какая-то дрянная передача, которая, говоря честно, никак не соответствовала его интеллектуальному уровню. При виде меня он не выключил телевизор и даже не убавил звук. Если с ним и раньше было трудно разговаривать из-за депрессии, то теперь летевшие с экрана вопли делали беседу практически невозможной. Я уже жалел, что пришел, и только ждал удобного момента, чтобы распрощаться. Но тут разыгралась потрясающая сцена. Собачий инстинкт, видимо, подсказал Пепе, в каком тяжелом настроении пребывает хозяин дома, она села перед ним, посмотрела на него не то с сочувствием, не то с нежностью и заскулила. И Хромой словно внезапно проснулся. Он вздрогнул или испугался, что заставило Пепу мигом прижать уши. Хромой пристально уставился ей в глаза, и вид у него был ошеломленный. Я даже подумал, что он сейчас может ударить Пепу или отпихнет от себя. Но вместо этого мой друг обнял собаку, которая в ответ стала преданно облизывать его. Именно тогда Хромой попросил, чтобы я приводил с собой Пепу, как только это будет возможно. В итоге я даже решил купить еще один набор мисочек для воды и корма, потому что ему часто хотелось, чтобы я оставил собаку у него на ночь.

11.

Амалия считала мою библиотеку настоящим бедствием. Ей казалось, что книги распрягаются по квартире как грибы и в конце концов ими будут покрыты стены, пол и потолок. Своих у нее, за редкими исключениями, почти не было. Прочитав книгу, она с удовольствием дарила ее коллегам, друзьям или гостям радиопрограммы, а иногда и просто оставляла в редакции – пусть заберет кто хочет. Да и читала она не так уж много. Стоило чуть поскоблить верхний слой ее общей культуры, как сразу обнаруживалось невежество, скрытое под изысканным макияжем. Отсутствие познаний во многих областях не мешало ей изображать из себя в качестве ведущей весьма образованную женщину. Но, надо признать, готовилась она к передачам на совесть. Так вот, если вслушаться повнимательнее, легко понять, что при всем своем безусловном обаянии и красивом голосе Амалия всего лишь задает заранее составленные вопросы и произносит заранее написанные тексты, имитируя импровизацию, а еще копается в чужой личной жизни, повторяет модные лозунги и фразы, почерпнутые из газет. Однако слушатели никогда не услышат от нее глубокого анализа темы, требующего знаний и настоящего погружения в материал.

Наступил момент, когда Амалия довела меня своими причитаниями до того, что я согласился хранить большую часть книг в картонных коробках. Правда, эти коробки выглядели гораздо хуже, чем полки, заставленные томами. Моя комната стала напоминать подсобку во фруктовой лавке. Жена потребовала, чтобы гостиная стала территорией, свободной от книг. «Свободной от культуры», – возразил я. По ее мнению, наши гости (весьма, кстати сказать, редкие) не должны чувствовать себя так, словно попали в канцелярию. Слово «канцелярия» она произнесла с подчеркнутым презрением.

К Хромому Амалия относилась еще хуже, чем к моей библиотеке, хотя в его присутствии скрывала желание перегрызть ему глотку. Они терпеть не могли друг друга и, вероятно, именно поэтому прекрасно между собой ладили, поскольку понимали, что оба в своем притворстве придерживаются одной и той же стратегии. Я не раз замечал: когда мы с Амалией заговаривали о нем, она корчила недовольную мину и даже избегала произносить вслух имя моего друга, словно ей было противно осквернять свои уста такой мерзостью. Амалия так и не узнала про-

звиза, которое годы спустя, уже после теракта, я для него придумал. Этого прозвища вообще никто не знал, он в том числе. Хромой был единственным, кого в наш дружеский круг ввел именно я. В оправдание Амалии должен признать, что он порой бывал слишком прямолинейным и даже грубым. И мог позволить себе в ее присутствии малоприличные – или совсем неприличные – слова, хотя сознавал несовместимость их интересов и характеров, а может, с тайной целью вогнать мою жену в краску. Кроме того, он потешался над наивностью Амалии в политических вопросах и пользовался любым поводом, чтобы довольно бесцеремонно указать на нелепость ее суждений. Она считала Хромого хамом и обижалась, что я не ставлю его на место. Однажды, когда мы втроем ужинали в ресторане, Хромой в лоб спросил:

– А сколько раз в неделю вы трахаетесь? Мне это надо знать для моих статистических исследований. – И расхохотался так, что на нас посмотрели из-за соседних столиков.

В подобных случаях Амалия держалась невозмутимо, словно выходки Хромого задевали ее не больше, чем проказы невоспитанного ребенка. Такое хладнокровие выполняло роль непрошибаемой брони, и Амалия вела себя как ни в чем не бывало, даже если внутри пылала негодованием и могла исподтишка ущипнуть меня или пнуть под столом ногой, чтобы я придумал повод поскорее уйти. В защиту Хромого должен сказать, что он был невероятно щедр, когда речь шла о подарках или услугах. После нашего развода Амалия порвала с ним всякие отношения, как и я с ее друзьями.

Из того, что было связано со мной или важно для меня и что Амалия ненавидела, третьей в списке стояла собака. Моя жена никогда не гуляла с ней одна. Иногда вместе со мной или с Никитой выходила пройтись по нашему району, и то скорее в роли инспекторши, а не ради удовольствия. Если Пепа начинала чесаться, значит, у нее наверняка завелись блохи. Если вокруг собачьей миски валялись остатки корма, значит, в нашем доме скоро появятся муравьи. Если Пепа тявкала, услышав звонок в дверь, значит, соседи будут на нас жаловаться. Амалия то и дело напоминала, чтобы я не забывал убирать собачьи какашки на улице, ведь кто-нибудь мог узнать меня, а потом разместить в сети фотографии и погубить тем самым ее карьеру на радио. Все, что касалось Пепы, становилось поводом для ссор, все сулило одни только неприятности. К сожалению, Пепу нельзя было сунуть в картонную коробку, как книги, и нельзя было не видеть неделями, как Хромого. Пепа жила с нами, она принадлежала нашему сыну, хотя он и не баловал ее своим вниманием. Короче, она была членом нашей семьи. К тому же самым ласковым, самым спокойным и разумным, почему я собаку так и люблю.

12.

Я увидел выставленную на утреннее солнце сушилку для белья, и мне было трудно поверить, что такое количество трусов и лифчиков могло принадлежать Амалии. Однако сушилка была наша, та самая, которой мы пользовались с самого начала семейной жизни. Жена давно завела привычку вешать выстиранное у нас на плоской крыше, подальше от любопытных глаз. Вряд ли кто из соседей поднимется туда. Эти кретины и не догадываются, как быстро сохнет белье наверху при хорошей погоде. А мы жили на последнем этаже, и крыша была в полном нашем распоряжении, чем мы охотно пользовались. Кроме того, туда вела очень крутая лестница, по которой никак было не подняться старухе, обитавшей напротив.

Амалия утверждала, что белье, повешенное во внутреннем дворе, впитывает в себя все неприятные запахи, летевшие из кухонных окон, ведь там жарили мясо и варили овощи. К тому же во двор никогда не попадало солнце, туда не залетал ветер, поэтому и сохло все долго. Мало того, казалось, что оно вообще не высыхает до конца. Много часов провисев в тени, ткань оставалась неприятно сыроватой. Кроме того, кто угодно из жильцов мог выглянуть наружу и поглазеть и на предметы нашего туалета, и на простыни, которыми мы укрывались, и на поло-

тенца, которыми мы вытирались. Короче, выставлять напоказ то, до чего никому не должно быть дела, Амалия не любила.

Глядя на ряды трусов и лифчиков, я почувствовал сильную неловкость. Словно они нагло тарашились на меня, шепотом подшучивали надо мной и сговаривались наябедничать Амалии, что утром я поднимался на крышу.

– А вы уверены? – спросит их Амалия.

– Да, он воспользовался тем, что ты ушла из дому, и тайком явился сюда. Он настоящий извращенец. – Он и до развода был таким.

– Но теперь это особенно заметно.

И тогда я принялся швырять все это вниз, выбирая по цветам: сначала белое, потом красное, потом черное... Лифчик, трусы, еще один лифчик... А потом бросился с крыши сам. Решительно подпрыгнул на несколько сантиметров и сперва завис над полом, с невероятной остротой почувствовав, как неодолимо он притягивает к себе мое тело. Если бы кто-нибудь увидел меня снизу, с усыпанного бельем тротуара, или из окна ближайшего дома, он бы подумал: «Этот сеньор собрался перебежать по воздуху от одного здания к другому».

Падая с крыши, я в первые мгновения испытал удовольствие. Легкое, холодное, мимолетное, но удовольствие. И тотчас в уши мне ударили истошные птичьи крики, похожие на звонкие бешеные иголки. Тысячи стрижей окружили меня плотным облаком, и я утонул в непроглядном мраке. Потом ощутил на лбу и на щеках резкие прикосновения крыльев, а в одежду и в тело мне впились их клювы. Я успел пролететь вниз не больше двух или трех этажей, когда падение мое начало замедляться, а потом я повис в воздухе. Несметная стая птиц тянула меня вверх. Люди на тротуарах с изумлением задирали головы и показывали на нас пальцами. А маленькие птички, хлопая крыльями и выбиваясь из сил, все-таки подняли меня и опустили обратно на крышу – с фантастической осторожностью. Я был весь с головы до ног измазан птичьим пометом. Белесая масса покрывала мне одежду, руки и волосы. Стрижи порхали вокруг с пронзительным свистом. Не обращая внимания на всю эту суматоху, я опять бросился вниз. Они опять вернули меня на крышу, где уже успели собраться какие-то люди. Соседи? Мои глаза были залеплены мерзкой дрянью, и я никого не мог толком разглядеть.

Кто-то сказал:

– Иди сюда, сейчас ты все узнаешь.

Голос, вне всякого сомнения, принадлежал моему отцу. Пока я, смирившись с тем, что остался в живых, шел к двери, люди, расступившись, образовали коридор. Я шагал по коридору и узнавал их. Папа, мама, брат, невестка, Амалия, ее сестра, Никита, его кузины, тесть с тещей... Но разве папа и тесть не умерли? И почему мама не в пансионате? Не обошлось и без Хромого – *tu quoque*?¹⁵ А еще я увидел коллег по школе, среди них – Марту Гутьеррес, видимо воскресшую, а поодаль стояла директриса с искаженным злобой лицом. Я шел между ними, низко опустив голову, во-первых, чтобы защититься от их гнева, а во-вторых, чтобы не замечать их взглядов. И каждый старался ударить меня – кто палкой, кто клюкой, кто просто голой рукой, кто хлыстом или железным прутком... Но больше всего изумило меня другое: в конце двух параллельных рядов стоял мой детский учитель математики. Он был вооружен ножом с широким и длинным лезвием, сверкавшим в лучах утреннего солнца. Я подставил ему для удара живот – и проснулся. Мне редко удается вспомнить днем то, что приснилось ночью. Этот свой сон про крышу я объясняю тем, что после ужина принял капсулу мелатонина.

¹⁵ И ты тоже? (лат.)

13.

С берега водохранилища я смотрел, как они идут в сторону леса. Никита кидал юной и неутомонной Пепе резиновый мячик, за которым она неслась со всех ног. Амалия отставала от них на несколько метров и шла, как всегда, чуть покачиваясь, что мне в ней особенно нравилось. Тело – лучшее, что было и есть у Амалии, хотя непонятно, как долго оно будет таким оставаться. Ее характер никогда не соответствовал телесной оболочке. Вот мое мнение. А если кто со мной не согласен, ваше дело. Еще я думаю, что она рискует превратиться в совершенно несносную персону, когда старость лишит ее физической привлекательности. Ну и хватит об этом, для меня такие мысли – чистый уксус. Сегодня вечером я хочу вспомнить кое-что другое.

Воскресный день катился к вечеру. Я остался сторожить наши вещи, а заодно, сидя на камне, проверял домашние задания своих учеников. Чтобы дать мне спокойно поработать, а еще потому, что мы совсем недавно чуть не разругались, Амалия уговорила Никиту пойти с ней прогуляться. Вернулись они пару часов спустя, когда солнце опустилось уже совсем низко, и с той же стороны, куда уходили. Переположенный Никита кинулся ко мне, громко выкрикивая что-то бессвязное, но я разобрал его слова, только когда он оказался совсем рядом.

Амалия без особого волнения подтвердила: Пепа убежала от них.

– Думаю, она чего-то сильно испугалась, наверное, ее укусил скорпион.

Амалия сразу же бросилась на поиски, но Пепу не нашла. То, что жена сказала следом, вселило в меня некоторые подозрения:

– Уже поздно, пора ехать домой. Надо смириться с фактом: мы ее потеряли.

На самом деле насторожили меня не столько эти слова, сколько выражение лица Амалии. На нем не было даже намека на тревогу или огорчение.

Видимо, жена, которая никогда не была дурой и, кроме того, умела читать по моей физиономии, что у меня на уме, как и я умел читать по ее физиономии, что на уме у нее, быстро сообразила: она слишком поспешно объявила потерю собаки делом непоправимым. Поэтому не стала возражать против моего предложения снова попробовать поискать Пепу – думаю, почувствовала, что надо действовать хитрее, чтобы рассеять мои подозрения. Я велел Никите идти со мной. Кто, если не он, покажет мне дорогу? Мальчишка согласился без особой охоты. Мы договорились, что Амалия тем временем соберет наши шмотки и погрузит все в машину, и как только мы вернемся, немедленно тронемся в путь. Она довольно настойчиво попросила нас не уходить слишком далеко, напомнив, что скоро начнет темнеть, а завтра – рабочий день. Четверти часа, на ее взгляд, нам вполне хватит. Я кивнул, но только чтобы не терять время на пустые разговоры, хотя вовсе не собирался выполнять это обещание. Иными словами, был готов ночь напролет, если понадобится, бродить по лесу вокруг водохранилища Вальмайор, пока не отыщу Пепу.

Когда мы остались с Никитой вдвоем, я попросил его вести меня точно тем же путем, каким они шли с матерью. Он сразу начал увильвать. Якобы плохо запомнил маршрут.

– Вы шли здесь?

– Да!

Я тотчас указывал ему другое направление, и он опять говорил «да». Мы забрели невесть куда, и тогда я решил поподробнее расспросить его про Пепин приступ паники. Не всегда, конечно, но иногда все-таки выгодно иметь не слишком сообразительного ребенка, поскольку такие плохо умеют врать.

– Мама мне сказала...

– То, что сказала мама, я уже знаю, теперь мне нужно узнать, что ты видел своими глазами.

Так выяснилось, что сам он не присутствовал при бегстве собаки. Мать велела ему спокойно постоять на тропинке. Она исчезла в зарослях, а вскоре вернулась уже без Пепы. Продолжая расспросы, я вытянул из Никиты одну подробность, показавшуюся мне очень полезной. С того места, где он ждал Амалию, были видны дома какой-то деревни.

– Кольменарехо?

Никита пожал плечами. Ну, не важно. Если гулять по этим тропинкам, другой деревни тут не будет, поэтому мы с ним зашагали именно туда, пока еще не совсем стемнело. Каждые две-три минуты я свистел. Потом несколько секунд прислушивался и продолжал путь. Ноющий сын тащился следом.

– Если не хочешь идти со мной, возвращайся к матери.

– Один я потеряюсь.

Пепа, как и положено, была чипирована. Не исключалась возможность, что позднее гражданские гвардейцы нам ее вернут. Но был возможен и другой вариант: какой-нибудь шустрый тип, найдя такую красивую и послушную собаку, не пожелает с ней расставаться. Я снова свистнул. Тишина. Уже прошли четверть часа, о которых мы договорились с Амалией. Никита своим нытьем действовал мне на нервы. Впереди появились огни, и они могли быть только огнями Кольменарехо. Я уже был готов признать свое поражение, когда решил влезть на маленькую каменную ограду у края дорожки. И, теряя последние надежды, снова свистнул, свистнул очень мощно, как когда-то научил меня отец и как я так и не сумел научить свистеть собственного сына. На этот раз ответом мне стал далекий лай, в котором я поначалу не узнал голоса Пепы. Может, мое присутствие насторожило какого-то пса на одной из окрестных ферм. Я снова свистнул, и на сей раз ответный лай прозвучал жалобно. Я свистел, Никита кричал, и таким образом Пепа через несколько минут нашла нас, хотя все эти минуты не подавала признаков жизни. И вскоре я понял почему. Она бежала к нам, держа в пасти резиновый мячик.

По дороге в город Амалия всячески демонстрировала, как она рада, что Пепа нашлась. Она даже не возмущалась тем, что мы с Никитой потратили на поиски больше часа. И, сидя рядом со мной, тянула руку к заднему сиденью, чтобы погладить тяжело дышавшую, как всегда, собаку. Амалия выказывала к ней такую нежность, что на миг мне почудилось, будто в машину к нам случайно села чужая женщина.

После ужина я пошел выгуливать Пепу. И при свете фонаря присел перед ней на корточки:

– Она хотела тебя там оставить? Правда? – Ответ я прочитал в глубине собачьих глаз. – Обещаю тебе, что впредь буду вести себя внимательнее.

14.

Старуха предсказала, что я попаду в ад. Вернее, пожелала мне попасть в ад. Она буквально накинулась на меня. Еще хорошо, что не ударила своей сумкой. И твердо пообещала, что всемогущий Господь накажет меня, во-первых, за то, что я испортил жизнь ее девочке, а во-вторых, за то, что нарушил священное таинство брака. Как она утверждала, семью погубил именно я. И справедливая кара за этот смертный грех будет ужасной. Потом она повторила с бешенством во взгляде, что в иной жизни меня ждут муки, которые даже трудно себе вообразить.

Говорила моя бывшая теща сбивчиво, стародедовским языком, но вполне грамотно. Ее словарный запас был весьма богат – многие годы она накапливала его и шлифовала перед амвоном. Думаю, большинству нынешних телеведущих и политиков хотелось бы выразить свои мысли так же складно, как это получалось у проклятой ханжи.

Стало понятно: Амалия сообщила родителям, что мы начали процедуру развода. Я же, напротив, решил не расстраивать маму, ведь было непонятно, долго ли еще она сохранит остатки ясного ума. И до сих пор уверен, что поступил правильно.

Мой тесть во время описанной выше отвратительной сцены держался на заднем плане. Псоριαзный старик злобно молчал, решив, что я даже взгляда его не заслуживаю, и, видимо, мечтательно воображал, как расстрельный отряд поведет меня к стенке, а потом, изрешеченного пулями, волоком доставит пред очи Господа Бога.

В буйстве и наскоках тещи было что-то такое, что доставляло мне неподдельное удовольствие. Поэтому я решил не мешать ей. Кроме того, было приятно лишний раз убедиться в ее глупости. За свою жизнь я видел куда менее увлекательные фильмы и театральные спектакли. Меня просто завораживала смесь фанатизма и наивности, бушевавшая в ней и действовавшая подобно наркотику. Достаточно было понаблюдать, как расширялись у нее зрачки и как она сжимала челюсти, глядя на своего врага.

Я никогда не бил старух. Но в тот день едва сдержался, чтобы не сломать теще искусственную челюсть и не разбить нос, а уж затем отправиться домой, неся на рубашке пятна ее праведной крови.

Вечером Амалия позвонила мне, чтобы принести свои извинения и поблагодарить за то, что я вел себя с ее матерью так вежливо.

– Ты ведь сам знаешь, какая она, – добавила Амалия, тем самым словно снимая с нее всякую вину.

15.

Моего тестя уже успели похоронить, когда я услышал о его смерти. Никита забыл сообщить мне об этом. Почему? А нипочему. И вообще, с какой стати мальчишка должен исполнять роль гонца, приносящего дурные вести? Хотя, возможно, его мать желала омрачить те немногие часы, которые нам с ним позволялось провести вместе. Правда, я знал, что дни страдающего раком старика сочтены. Иногда Никита делился со мной какими-нибудь деталями:

– Дед Исидро классно облысел.

В свойственной Никите неформальной манере он упоминал о неприятном запахе, окружавшем больного, и касался других физиологических подробностей, от которых меня, если честно, выворачивало наизнанку.

Однажды я спросил сына, с какой стати он так обстоятельно рассказывает мне о болезни деда, если прекрасно знает, что после развода я не поддерживаю никаких отношений ни с ним, ни с его супругой.

– Это мама мне велит.

Тестя поместили в больницу, потом подключили ко всяким трубкам, потом он отдал Богу душу, его похоронили, но я ничего об этом не ведал. Смерть его – к чему скрывать? – не слишком меня огорчила, как, впрочем, и Никиту, если судить по его поведению.

– Ты, наверное, переживаешь, – сказал я ему. – Хочешь, в воскресенье пойдем в парк «Ретиро» и покатаемся на лодке?

Никита ответил не задумываясь:

– Ой, пап, не гони фуфел.

Короче, я не знал о смерти тестя, поэтому не явился ни на прощание, ни на кладбище и не выразил его близким своих соболезнований. Какое-то время спустя Амалия позвонила мне и стала выяснять, почему я так поступил. Неужели по злобе? Должен добавить, что Амалия, ставшая инициатором официального развода, надеялась, как и я, что мы сохраним наши семейные связи. Поэтому такой упрек с ее стороны показался мне настолько нелепым, что я решил не выдавать расчудесного безбашенного сына, который просто-напросто забыл сооб-

щить мне о смерти деда. Я объяснил свое отсутствие на похоронах неотложными делами. Она была этим искренне огорчена, разочарована и даже не удержалась от эмоциональных всплесков – совсем как в былые времена, когда мы с ней то и дело и по любому поводу ссорились. Сейчас Амалия, конечно, понимала, что, коль скоро мы разведены, она не имеет права что-то требовать от меня в личном плане, однако, по ее словам, все-таки лелеяла надежду на остатки хотя бы дружеских чувств или приязни. И даже если ничего подобного не сохранилось (тут она пустила в ход лучший из вариантов своего профессионального голоса), я мог бы как минимум отправить им несколько строк с соболезнованиями – это ведь элементарный жест вежливости со стороны хорошо воспитанного человека.

– Соболезнования я могу принести тебе и сейчас, выразить их никогда не поздно.

– Мне твои соболезнования не нужны, но ты должен был принести их моей матери, которая никогда ничего плохого тебе не сделала.

На это я ответил, что мой альбом с собранием упреков уже давно переполнен и туда не влезет больше ни одного. Амалия обозвала меня циником и добавила с плохо скрываемым презрением, что, пожалуй, тоже не станет задавать вопросы о здоровье моей матери.

– Обойдемся! – отрезал я, но она меня уже не слышала, так как успела повесить трубку.

16.

Вчера ночью мне приснилось, будто я снова поднялся на крышу. И теперь я раздумываю: что же с некоторых пор стало твориться у меня в голове? Может, от скуки мой мозг испытывает потребность в нелепых историях? Или это действие мелатонина? На сей раз на сушилке для белья были развешены одни только трусы – каждая пара со своей прищепкой. Очень много трусов разного фасона и разного цвета, и трудно было сказать, кому они принадлежали – только Амалии или также одной из ее любовниц. В сновидениях не бывает справочных бюро. Так что спросить было некого.

Я хорошо запомнил одну подробность: в небе не было стрижей. Кажется, они уже знали, что на сей раз, поднимаясь на крышу, я не собирался бросаться вниз. То есть не собирался покончить с жизнью таким вот быстрым способом. Вместо этого я подошел к сушилке и наугад выбрал красные трусы с кружевами. Судя по всему, дорогие. Я очень осторожно снял их, чтобы ногтями не повредить тонкую ткань. Потом, натягивая на себя, убедился, что они уже высохли. Правда, я надел бы и мокрые, иначе зачем было подниматься на крышу? Трусы были мне немного малы, но не слишком, поскольку Амалия, конечно, ниже меня ростом и худее, но у нее широкие бедра.

Однако прежде я взял освободившуюся прищепку и с ее помощью повесил на сушилку собственные трусы. Стягивая их с себя, я почувствовал на ткани тепло детородных органов. Трусы были старые и самые обычные, из хлопка, чуть потрепанные понизу, то есть далеко не самые лучшие из тех, что у меня имеются. К тому же не совсем чистые. В любом случае контраст с висевшим на сушилке бельем оказался разительным.

Непонятно, каким образом – ведь ключа у меня не было – я попал в квартиру Амалии. И быстро спрятался за штору. Все вокруг осталось таким же, как во времена нашей совместной жизни: та же мебель, та же люстра под потолком, те же картины на стенах. Тут в гостиную вошла Амалия, умоляя свою подругу поверить: она не стирала и не вешала сушиться никакого мужского белья. Подруга по имени Ольга, бесясь от ревности, объявила, что разрывает с ней всякие отношения, а потом назвала изменщицей и грязной шлюхой. Стоит ли добавлять, что все это говорилось на повышенных тонах – к негодованию соседей.

И вдруг я оказываюсь у себя в школе, где веду урок, посвященный Канту и категорическому императиву. От моего внимания не укрываются смешки и перешептывания учеников. Не знаю, каким образом, но эти негодяи догадались, что под брюками у меня женские трусы,

мало того, они вот-вот могли узнать, какого те цвета, поскольку нынешние ребяташки со своими мобильниками и безвылазным сидением в социальных сетях в мгновение ока обмениваются информацией – стоит кому-то одному сделать некое открытие, как оно становится всеобщим достоянием.

Я прерываю объяснения и, застыв в центре класса, приказываю ученикам немедленно поменяться нижним бельем.

– Мальчики должны надеть девчачьи трусы, – говорю я непривычным для них строгим голосом, – а девочки – мальчишечьи.

Я даже прикрикиваю на этих оболтусов, чтобы никто не вздумал мне перечить. Я хочу добиться своего любой ценой, поэтому достаю из портфеля пистолет 22-го калибра и недолго думая стреляю в окно, вдребезги разбивая стекло. Напуганные ученики молча начинают раздеваться. Некоторые прикрывают срамные части руками, другие – учебниками или тетрадями. Я вижу маленькие члены и безволосые лобки. Девочки и мальчики меняются нижним бельем, вокруг стоит тишина, изредка нарушаемая всхлипами. Сперва дело идет медленно и как-то лениво, но после моего второго выстрела они начинают шевелиться быстрее.

И тут открывается классная дверь. Входит директриса. Привычным злым голосом она приказывает мне убрать пистолет и тут же хвалит за умение наладить дисциплину. Потом поворачивается к ученикам, большинство из которых еще стоят с голыми ногами, и, чтобы успокоить их, а может, чтобы подбодрить собственным примером, спускает брюки и показывает, что на ней надеты мужнины трусы.

17.

Вечером я гуляю с Пепой по улице Картахена – это наш любимый маршрут. Иду медленно, предаваясь воспоминаниям и обдумывая, что может лечь в основу сегодняшней порции моих ежедневных заметок. Я не обращаю внимания на собаку, которая бежит чуть сзади, принаравливаясь к ритму хозяйских шагов. Мне кажется, будто я держу в руке парящий в воздухе поводок. Дойдя до поворота на улицу Мартинеса Искьердо, останавливаюсь перед глухой стеной углового дома – без окон и дверей. Тротуар здесь узкий. На нем, перегораживая дорогу пешеходам, высится столб с дорожным знаком и светофор с привешенной к нему внизу урной. Цоколь со следами собачьей мочи привлекает внимание Пепы, которая начинает принюхиваться к меткам, оставленным ее сородичами. Замерев на углу, я раздумываю, по какому тротуару идти дальше – налево или направо. Так как у меня нет определенной цели, мне все равно, какой выбрать. Пепа, пометив территорию обильной струей, садится и ждет, куда ее в конце концов поведут. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. Не то чтобы меня раздирали сомнения, нет, просто в любом случае мой выбор не имеет абсолютно никакого значения. «Какая разница, куда ты повернешь, – думаю я, – если сам не знаешь, куда направляешься и если никто тебя нигде не ждет?» В итоге вопрос решается легко: мы поворачиваем назад и идем туда, откуда только что пришли.

18.

Ну вот, дождались: в нашем Конгрессе все – левые, правые и центристы – единодушно выступили за то, чтобы сделать философию обязательным предметом в трех последних классах средней школы. Отлично! Даже Народная партия поддерживает это предложение, хотя оно и противоречит реформе, проведенной по ее же инициативе в 2013 году. Сообщение я прочитал сегодня утром в учительской – кто-то кнопками приколол вырезку из газеты к доске объявлений. Некоторые учителя обсуждали новость. Я дождался, пока они отойдут, чтобы прочитать статью спокойно, не отвлекаясь на вопросы, что по этому поводу думаю. Неужели я стал бы

возражать против того, что моему предмету хотят придать особую важность? Но нынешнее правительство у нас слабое, вряд ли долго продержится, и, боюсь, эта инициатива будет положена под сукно.

Лично мне испанское образование напоминает мяч для регби. Тот, кто им завладел, мчится с ним в зону своих интересов, а противники его преследуют. И я не могу отделаться от мысли, что те и другие изо всех сил пытаются завладеть мячом. Возникает естественный вопрос: а что знают наши политики о педагогике и реальной ситуации в школах? Если бы это зависело от меня, я бы учредил специальный парламент, который занимался бы исключительно вопросами образования, и чтобы туда вошли избранные демократическим путем педагоги, а они, в свою очередь, выбирали бы особое правительство, отдельное от правительства страны.

С момента начала моей работы в школе я пережил несколько законов, которые, как предполагалось, должны были улучшить качество образования. Жалкая ложь! Все перемены были направлены на то, чтобы что-то убрать, а что-то ввести, но в первую очередь – убрать введенное предыдущими законодателями. В большинстве своем все реформы сводились к набору административных мер и предписаний, которые лишь связывали руки учителям, а ученикам отводили роль машин для усвоения материала. Любая из этих реформ уже в момент ее одобрения теряла всякую силу из-за непреодолимых бюрократических барьеров и стабильного отсутствия денег.

Итак, я прочел статью, которая завершалась трогательными откликами ряда наших интеллектуалов, горячо поддержавших это предложение – в полном объеме восстановить философию в старших классах. Некий эксперт рассуждал о том, что очень важно подготовить нашу молодежь так, чтобы «она была способна осмыслить серьезнейшие проблемы, стоящие перед человечеством, и принять этот вызов». Еще одна ученая дама превозносила историю философии как «багаж, без которого не построить думающего общества». Читая подобную чушь, я представил себе лица своих учеников. Представил, как они будут тупо смотреть на меня, пока я стану втемняивать им эти фразы, словно они пришли в голову мне самому. Тут коллега, только что вошедшая в учительскую, спросила, что меня так рассмешило.

19.

Сегодня утром в коридорах школы и в учительской все обсуждали смерть ученицы второй ступени *ESO*¹⁶, которую лично я не знал. Всем хотелось услышать подробности. Кое-кто из учителей искренне переживал. Думаю, те, у кого эта девочка училась. Директриса сказала нам:

– Ничего тут не поделаешь, такие вещи случаются. И мы как профессиональные педагоги должны уметь с этим смиряться.

Неужели она полагала, что ее бестактная и неуместная речь поднимет кому-то настроение? Кое-кто за спиной начальницы упрекнул ее за «черствость, которую можно объяснить лишь тем, что у нее самой нет детей». Как я узнал, девочке было тринадцать лет, какое-то время она лежала в больнице, но тяжелую болезнь победить не удалось. Отпевание состоится в понедельник в церкви Богоматери Пилар. Но я туда не пойду.

В мире ежедневно умирают люди разного возраста. Так что, если судить честно, наша директриса права. Такие вещи случаются, и они никак не противоречат законам природы, однако это, уж простите, не мешает нам видеть очевидную жестокость в смерти маленького человека. Сегодня вечером я стал перебирать в памяти своих учеников, умерших за то время, что я преподаю в школе. Помню три случая, и все три задели меня за живое – одни больше, другие меньше, и по разным причинам.

¹⁶ *ESO* (от исп. Educación Secundaria Obligatoria) – обязательное среднее образование с 12 до 16 лет, составляет 4 курса.

Первой была девчушка, страдавшая муковисцидозом. Звали ее Росио. Я был тогда начинающим учителем с неумной энергией, твердо решившим стать хорошим педагогом. С самого начала мне хотелось помочь бедному ребенку, о чьей болезни никто меня заранее не предупредил. Чтобы выяснить, что же с ней происходит, я назначил встречу ее матери, и та объяснила ситуацию. А заодно со слезами на глазах попросила, чтобы я – пожалуйста! – сажал Росио в самый задний ряд, подальше от других ребят, тогда случавшиеся у девочки приступы кашля будут не так им мешать. Она призналась, что боится повторения прошлогодней истории, когда родители и учителя начали жаловаться на этот кашель. А я видел страдания девочки, и мне хотелось бежать куда угодно и делать что угодно. Казалось, в ее худеньком тельце каждый орган располагался отдельно от других и все они вдруг начинали сталкиваться между собой. Из жалости и особой симпатии к этой ученице я делал в объяснениях паузу, но минуты шли, а кашель, глубокий и неотвязный, не прекращался. Ученики начинали вертеться, перебрасываться шуточками и безобразничать. Росио сидела с пунцовым лицом и прижимала к губам платок, чтобы удержать мокроту. Иногда она из последних сил извинялась. Я говорил, чтобы она не волновалась, что может кашлять сколько угодно, что мы всё понимаем. Видимо, другие учителя не обладали таким терпением, как я. Про одного точно знаю, что он предлагал ей выйти из класса, как только у нее начинался приступ. Росио посещала мои уроки всего несколько месяцев. В первые же рождественские каникулы ее срочно положили в больницу, так как начал развиваться связанный с болезнью инфекционный процесс. Когда в январе мы снова приступили к занятиям, я в первое же утро заметил, что ее место пустует.

Я начал урок, и тогда меня перебила одна девочка и при напряженном молчании класса сообщила о том, что все, кроме меня, уже знали.

Второй случай произошел несколько лет спустя. Нагрузка у меня выросла, и теперь главной моей задачей было не столько провести образцовые уроки, сколько в конце рабочего дня вернуться домой по возможности не слишком измотанным. В отличие от смерти первой девочки, эта смерть вызвала у меня бурную радость, и я даже выпил тайком бокал вина, чтобы отпраздновать такой подарок судьбы. На самом деле радовался я вовсе не смерти ученика по имени Дани, а неожиданному избавлению от паршивца, который раз за разом срывал мне уроки своими безобразными выходками. Он был совершенно неуправляемым и откровенно ненавидел меня и мой предмет. Именно ему я обязан грубым и оскорбительным прозвищем, от которого не мог отделаться еще долго после воистину своевременной гибели этого самого Дани. Я ненавидел его не меньше. И испытывал к нему физическое отвращение, почти омерзение. Я был уверен, что в положенный час недрогнувшей рукой поставлю ему неуд, который он, разумеется, заслужил, но в котором будет присутствовать и доля мести с моей стороны. В новостях по телевизору я увидел разбитую машину. Кроме Дани погибли водитель и девушка. В первый учебный день после смертельной аварии я шел в класс со страхом – боялся, что товарищи погибшего станут смотреть на меня с укором. «Они ведь понимают, что моя скорбная мина – чистый театр, маска, за которой скрывается мстительное злорадство». С такими мыслями я прохаживался между рядами, чувствуя себя настоящим убийцей, у которого на лице каленым железом выжжено признание в совершенном преступлении.

Третьим умер мальчик, учившийся во втором классе бакалавриата. Звали его Луис Альберто, и он был венесуэльцем. Просто замечательный парень. Воспитанный, старательный, симпатичный... Но, к несчастью, как это часто случается, ему не доставало внутренней стойкости и силы духа, без которых трудно выжить в нашем подлом мире, где вперед можно пробиться, только орудуя локтями. За несколько недель до смерти ему исполнилось семнадцать. И если многие его товарищи по классу еще не выбрали себе будущую профессию, то он твердо решил изучать медицину. Но судьба решила иначе. Кураторша их курса рассказала нам, что в семье Луиса Альберто постоянно случались скандалы и сам он лечился у психиатра. Мне же двое ребят, парень и девушка из его класса, по секрету сообщили нечто иное. Совсем недавно

парень пережил любовную травму. Кроме того, по их словам, над ним издевались в соцсетях, и делал это, разумеется, кто-то из нашей школы. Кто? Я понял, что мои собеседники не хотели называть виновных, поэтому ответили расплывчато. Позднее девушка подкараулила меня на школьной стоянке и шепнула, что любовная история Луиса Альберто носила гомосексуальный характер:

- Кажется, он был геем.
- Кажется?
- Ну хорошо, он был геем.

Короче, по той или иной причине в субботу на рассвете парень бросился в тоннель Ла-Менина на бульваре Чопера в Алькобендасе, довольно далеко от своего дома и от нашей школы. При нем нашли написанную от руки записку, которая позволила полиции исключить возможность как несчастного случая, так и убийства. В одной популярной газете было высказано предположение, что мальчишка стал жертвой травли, и была названа наша школа. Но журналист не удосужился указать источник информации.

20.

Я вернулся с работы в обычное время. В почтовом ящике лежали два конверта: в первом было уведомление от банка, во втором – какой-то счет. Оба на мое имя. Когда я их доставал, на пол упала очередная анонимка. Не уверен, что смогу сейчас вспомнить ее дословно, но смысл был такой: «Твоя жена тебя обманывает (наставляет тебе рога). И ты даже не представляешь, каким образом». В первое мгновение я решил добавить и эту записку к своей коллекции. И уже шагнул было к лифту, но вдруг передумал. Как отнесется Амалия к такому позорному обвинению, если узнает о нем? Ведь это послание ни в какое сравнение не шло с предыдущим, которое она могла спокойно мне показать, поскольку оно касалось всего лишь моей манеры одеваться. Я быстро сунул оба конверта обратно в ящик, заложив между ними записку. Потом поднялся в квартиру, взял Пепу, долго гулял с ней, а когда вернулся, нашел почтовый ящик пустым. Оба конверта лежали на кухонном столе. Сперва я сделал вид, что не заметил их. И только какое-то время спустя распечатал в присутствии Амалии. Анонимки между конвертами не было. Воспользовавшись тем, что Амалия вышла из кухни, я заглянул в мусорное ведро, но и там листка не обнаружил. То обстоятельство, что Амалия не показала мне записку и даже не упомянула о ней, убедило меня в справедливости обвинения.

21.

Сначала я решил стать другим. Таким человеком, который у всех будет вызывать удивление, а возможно, даже внушать страх. Человеком, способным поразить даже себя самого. И чтобы испробовать разные варианты, вечером я сунул в холодильник полдюжины книг. Утром Амалия увидела их, но ничего не сказала и вообще никак не отреагировала. Из чего я сделал вывод, что ей нет до меня ни малейшего дела. И это лишь усилило ненависть, которую я испытывал к жене.

Неприятно было убедиться, что тебя обманули, нарушили договор. «Зачем идти на работу? – спрашивал я себя. – Почему бы мне не взять свои накопления и не отправиться на пару лет в Новую Зеландию, никому ничего не объясняя и оставив Амалию с носом?»

– Ты сам виноват, незачем было жениться, – сказал мне Хромой, к тому времени уже оправданно носивший это прозвище.

Я вошел в «Корте инглес» на улице Гойи, чтобы примерить шляпу. Я увидел ее в витрине, проходя мимо, и купил, хотя она была дорогой, – купил именно потому, что она была дорогой, старомодной и вульгарной. А еще потому, что, примерив шляпу перед зеркалом, понял, что

она совершенно мне не идет. В этой шляпе я и отправился домой. На улице мне чудилось, будто люди улыбаются, глядя на меня. Остановившись перед какой-то витриной, я почувствовал себя клоуном. Амалия мою покупку похвалила. В шутку или всерьез? Не знаю. Но ее похвалы оказалось достаточно, чтобы я никогда больше эту шляпу не надевал.

– Ну и что мне теперь делать? – спросил я Хромого.

– Убей ее, – ответил он.

– Ты с ума сошел?

– Тогда чего спрашиваешь?

22.

У меня никогда не было чувства собственника по отношению к жене. Точно так же я не ощущал, что Никита принадлежит мне, даже когда он был беспомощным младенцем. Моя жена, мой сын, моя мать – это люди, которые находятся где-то рядом и с которыми я часто имею дело, испытывая к ним в зависимости от обстоятельств то любовь, то ненависть, хотя никогда достоверно не знаю, что они думают, чувствуют и какое варево бурлит у них внутри. Я умру 31 июля 2019 года, умру с убеждением, что нам не дано узнать до конца ни одно человеческое существо.

А вот мой отец, наоборот, был склонен к ревности. И словно боялся, как бы у него не украли то, что, по его мнению, принадлежало только ему. Мне кажется, он говорил «моя жена», «мой сын» в буквальном смысле, как сказал бы «мои брюки» или «мои часы». Мы принадлежали ему, как стадо овец принадлежит пастуху, ведущему их на водопой или на пастбище. Напомню, что при этом у мамы имелся собственный заработок. Ревность была тем сторожевым псом, с помощью которого папа держал под контролем свое стадо.

Не стану отрицать, что после этой анонимки любопытство меня все-таки мучило. Да, мучило. Я чувствовал острую потребность докопаться до правды.

И был уверен, что не успокоюсь, пока не увижу физиономии типа, с которым спала Амалия. Ночью, лежа в постели, я перебирал в уме разных кандидатов на эту роль. Искал подходящих в кругу наших друзей. Подозревал всех подряд. Терзал себя, воображая любовников голыми в интересных позах. Я как будто стоял у гостиничной кровати и смотрел на затылок своего соперника, на его спину, на задницу, которая то поднималась, то опускалась в определенном ритме, но вот лицо, черт возьми, лицо мне увидеть никак не удавалось.

Я со стыдом думал, что суть моей нынешней жизни можно свести к тексту какого-нибудь пошлого танго, вернее, к одной его строке: «Жена изменяет мне с моим лучшим другом». И я решил, что остатки мужской гордости требуют придумать способы мести. Я целился Амалии в грудь из пистолета, который принес с кладбища отец – он же учил меня с ним обращаться. Потом я начал стрелять, но вместо пуль из пистолета вылетали потешные водяные струи, и Амалия твердила издевательским тоном: «А мне не больно! А мне не больно!» Тогда я попытался воткнуть ей в живот мясницкий нож, тоже принесенный отцом, но в решительный момент лезвиегнулось, потому что становилось резиновым. У отца кончилось терпение:

– Я не могу тебя ударить, потому что я скелет. – И он возвращался обратно к себе в могилу, шепча сквозь зубы: – Еще при моей жизни он был размазней, таким и остался. Вот в чем беда!

И подобные сцены мелькали у меня в голове каждую ночь – пока не начинало действовать снотворное.

Изо дня в день после занятий я спешил домой, чтобы опередить Амалию и первым проверить почтовый ящик. По дороге сердце мое колотилось все сильнее, и, подходя к подъезду, я боялся, что оно вот-вот выскочит из груди. До таких крайностей доводило меня безумное желание узнать подробности об измене жены. В результате получалась странная история: теперь, не

находя анонимок, я чувствовал разочарование, хотя еще совсем недавно их содержание приводило меня в бешенство.

Кончилось тем, что я решил собственноручно написать записку, чтобы посмотреть, как поведет себя Амалия. Большими буквами, начерченными так, что ни один эксперт-графолог не смог бы определить автора, я вывел:

ВОНЮЧИЙ РОГОНОСЕЦ. ЕСЛИ БЫ ТЫ БЫЛ УМНЕЕ, ДАВНО БЫ
ПОНЯЛ, С КЕМ ОБМАНЫВАЕТ ТЕБЯ ЖЕНА. НЕ ВОЛНУЙСЯ, СКОРО
МЫ ТЕБЕ ЭТО СООБЩИМ.

Записка мало чем отличалась от предыдущих, тоже написанных от руки. Я сунул ее в почтовый ящик. Признаюсь, что выражение «вонючий рогоносец» казалось мне не слишком удачным. Это меня беспокоило. Слишком грубо и пошло. Поэтому я повторил на клочке бумаги тот же текст, но без оскорбительного начала, заменил им первоначальный вариант и отправился гулять с Пепой. Когда мы вернулись, ящик был пуст. Ни словом, ни жестом Амалия не выдала, что случилось нечто необычное. Ни намека на записку. По всей видимости, анонимку она спрятала или порвала. Редко я ненавидел кого-то так, как ее.

23.

Мы с Хромым сидели в баре в нашем обычном углу, Пепа лежала под столиком, и я рассказал ему, какую подлянку кинул Амалии. Он назвал меня паршивцем, но при этом одобрительно похлопал по спине:

– Это ты хорошо придумал. Можешь и дальше поиграть с женой в эту игру, поразвлекись за ее счет.

Хромой имеет склонность к суждениям, которые можно было бы назвать грубыми и жестокими, но за это я их и ценю: они помогают взглянуть на некоторые обстоятельства моей жизни под необычным углом, без сентиментального флера. А еще важно то, что я вовсе не обязан принимать их как руководство к действию.

Начав откровенничать, для чего мне всегда приходится преодолевать внутреннее сопротивление, я рассказал ему, что накануне Амалия после долгого перерыва вдруг проявила интерес к сексу. И ведь случилось это – какое совпадение! – сразу после получения анонимки.

– Вот видишь, все подтверждается. – Хромой аж подпрыгнул на стуле. – Конечно, она виновата.

Я попросил его более внятно объяснить свое заключение, поскольку голословные обвинения меня не убеждали. Он согласился при условии, что я закажу нам обоим еще по пиву. Мой друг обожает наблюдать за чужим поведением, въедливо разбирать его причины и следствия, а также обнаруживать душевные расстройства, которые кроются за самыми вроде бы обычными поступками.

Он честно признался, что ему хотелось сбить с меня спесь. Поэтому, надо полагать, он и спросил, какие такие перемены произошли во мне, чтобы моя жена вдруг ни с того ни с сего почувствовала, так сказать, «физическое влечение к моей незадачливой персоне».

– Может, сменил одеколон? Или выиграл в лотерею?

Хромой прекрасно знал, что ни того ни другого не было. Поэтому обозвал меня наивным идиотом, полным придурком и другими приятными словами, а потом высказал догадку, что моя жена решила «подставить мне свою дырку отнюдь не ради собственного удовольствия», нет, за этим крылся некий тайный смысл, некая старая женская хитрость.

Иными словами, сам собой напрашивался вывод: моя записка сильно встревожила Амалию. Видимо, «неверная жена», совсем как кальмар, попыталась выстрелить мне в глаза струей

чернил, если под чернилами в данном случае понимать краткую вспышку сексуальной активности.

– А ты ведешь себя как слепец, гормоны у тебя, видишь ли, взыграли, член торчком встал... И ты совсем обезумел от радости, что жена тебя любит, просто обожает и лезет из кожи вон, лишь бы тебя ублажить. Не смеши меня...

С другой стороны, по мнению Хромого, Амалия пыталась таким образом заглушить собственное чувство вины (материнский инстинкт, угроза разрушения семьи) или по крайней мере смягчить его, ради чего цинично «подкупила своего мужа-простофилю, изобразив вспышку страсти». То есть дала мне то, что и должна давать жена согласно традиционным устоям семейных отношений, и таким образом – свободная от любых долгов – могла смотреть драгоценному супругу в глаза с чистой совестью.

– Хорошо, допустим, твои мудрые рассуждения не лишены оснований, и что, по-твоему, я должен теперь делать?

– Пока справляй свое дело сколько можешь. Пользуйся на дармовщинку. А потом... Потом как Бог повелит.

24.

Пару дней после появления в почтовом ящике анонимки (потом лафа для меня кончилась) Амалия не возражала даже против того, чтобы я заходил в нее с черного хода – и при этом без всякой предварительной подготовки, что мне нравилось больше всего.

Было время (в самом начале нашего брака), когда она считала эту позу годной только для животных, а для себя к тому же и оскорбительной. Вернее, не только для себя, но и для всего женского рода в целом – везде и всегда, поскольку ей казалось, что она символизирует мужскую власть.

Напрасно я убеждал жену, что у меня и в мыслях не было подчинять ее своей воле. Просто хотел получить максимум удовольствия. Позднее, возмечтав о беременности, она прочитала в каком-то журнале, что эта поза помогает сперме проникнуть гораздо глубже в половые пути, и поэтому изменила свое мнение. На самом деле именно так произошло зачатие Никиты, о чем он, разумеется, не знает, да и незачем ему об этом знать. Если только однажды, когда я уже буду лежать в могиле, он не прочитает мои записки или мать не расскажет ему такого рода подробности, в чем я очень сомневаюсь.

Такая поза вообще-то имеет свои преимущества, которые Амалия в конце концов признала. Женщине не приходится терпеть на себе тяжесть мужского тела, как и его дыхание на своем лице. Мужчина не испортит ей макияж, не помешает правильно дышать, не будет колоть бородой, не обмусолит своим потом. Немаловажно и то, что ее затылок не будет прижат к подушке, валику или ковру, а значит, не пострадает прическа. Короче, все это мы с ней вполне откровенно обсудили. Добавлю, что, за исключением самого первого периода нашей совместной жизни, когда расстановка сил еще не была определена, Амалия, как правило, не возражала против этого способа.

И теперь, во время двух наших соитий, последовавших за анонимкой, она сама поспешно подставляла мне нужную часть тела. Наш секс отличался гимнастической сноровкой, к тому же можно было не тратить время на любовные игры. А ведь кроме перечисленных выше преимуществ, были и другие, куда более важные: Амалия знала, что в такой собачьей позе я быстрее извергну семя, и это ее очень устраивало. Я же мог сколько угодно предаваться восхитительным фантазиям, будто эта женщина находится в полной моей власти, будто я покорил ее и подчинил себе... К тому же, вздумай она сопротивляться, не могла бы пустить в ход ни руки, ни ногти, ни зубы, а ее глаза не могли бы наблюдать за мной и контролировать мои действия. Чего же еще желать?

25.

Двенадцатый час ночи. В квартире царит тишина. От тринадцатилетнего Никиты мы освободились под тем предлогом, что ему давно пора отправляться в постель. Парень спит, свет, во всяком случае, в его комнате погашен, хотя, возможно, он тайком курит в окно, убедив себя, что родители ни о чем не догадываются.

Пепа тогда была еще щенком, и мы оставили ее в гостиной, привязав к ножке стола. Собака привыкла бегать за нами повсюду и, если находила дверь закрытой, начинала царапаться в нее. Амалию коробило от одной только мысли, что Пепа проскользнет в спальню и будет наблюдать за нами, когда мы станем заниматься сексом. Жена говорила, что у Пепы слишком человеческий взгляд, а еще – что щенок может решить, будто мы деремся, и начнет тявкать или, чего доброго, кинется кому-то из нас на помощь и пустит в ход зубы. Правда, уже тогда Пепа была воплощением добродушия (в собачьем варианте). Думаю, Амалия преувеличивала, но момент был неподходящим для споров. Я уже успел как следует вспетушиться и рвался поскорее приступить к делу.

В таких ситуациях Амалия обычно старалась вести себя как можно тише, поэтому наши постельные сцены напоминали кадры из немого кино. Мы не позволяли себе ни переговариваться, ни стонать или вскрикивать. Все действие обретало, на мой взгляд, черты чего-то запретного и механического, хотя, честно признаюсь, меньше всего в эти краткие мгновения мне нужна была беседа с Амалией. Из-за того, что наша схватка была беззвучной, иногда слышались легкие шлепки тела о тело – и они напоминали звуки, с какими мясник отбивает вырезку тупой стороной топора.

В такие моменты мне на язык лезли разные остроумные комментарии. Но я, разумеется, помалкивал. Амалия – женщина обидчивая, ее могло оскорбить любое неосторожное слово, и тогда я лишился бы уже близкого оргазма. К тому же я с давних времен придерживаюсь твердого убеждения, что ни сакральное переживание, ни поэтический восторг или чувственный порыв не выдержат разрушительного воздействия острой шутки. Достаточно прочесть глупость про топор мясника, которую я только что выдал, чтобы описанные выше «супружеские отношения» разом лишились малейшей привлекательности. Слава богу, что я пишу без всяких литературных претензий.

Итак, Амалия две ночи подряд соглашалась спать со мной, в чем отказывала в последние годы нашего брака. Как я подозреваю, ее толкнуло на это чувство вины. И Хромой со мной согласен. Но у меня все-таки остались сомнения. Не хотелось бы исключать и другую возможность: возбуждение ее и вправду вызвано муками совести, но оно не поддельное. Я, конечно, не стану спрашивать об этом Амалию. Да и какая разница? У меня тут свой интерес – получить удовольствие, у нее, наверное, тоже. Как и вчера, она надела соблазнительное белье, ловко притворилась, будто уступает инициативу мне, хотя сама сгорает от страсти и не может совладать с собой. Мало того, она безропотно уступила моей просьбе не снимать туфли на высоком каблуке. Ну и капризы у тебя, сказала она снисходительно и льстиво, а потом улыбнулась, словно давая понять: «Какой ты еще мальчишка!» А я подыгрывал ей, повторив ее улыбку, но моя означала вовсе не то, что она думала или изображала, что думает, и уж тем более не кайф убаженного фетишиста. Нет, я испытывал победное чувство, добившись, что моя жена ведет себя как проститутка.

То, что я не видел лица Амалии, совершая ритмичные движения, тешило мое самолюбие. Думаю, после стольких лет супружеской жизни, стольких ссор и каждодневных потоков ненависти у меня прекратилась бы эрекция, если бы я видел перед собой лицо, отражающее ее личность, настроение и чувства. Но сейчас мне не было до этого дела. Я всего лишь хотел обладать женским телом, живой куклой с красивой фигурой, сохраненной несмотря на то, что моло-

дость осталась позади, прекрасной куклой из плоти, пахнувшей вагинальными соками, пылкой куклой в туфлях на высоком каблуке.

Тогда мы с ней в последний раз занимались любовью, но я этого не знал.

Я обратился к своему детородному органу с просьбой: расскажи, что ты чувствовал?

– Сперва сухость, хотя этот путь был мною пройден множество раз. Правда, в последнее время я попадал туда все реже и реже. И мне даже подумалось, что здесь меня встречают без особой радости, так что пришлось применить известную силу, словно я толкался в не желающую открываться дверь, – точно так же, кстати сказать, как и предыдущей ночью. Не могу понять, с чем была связана эта сухость – с климаксом или отсутствием желания у хозяйки. Не было радушной влаги, как в первые времена, но не стану отрицать и того, что, преодолев изначальное сопротивление плохо смазанных половых губ, я попал-таки в желанную женскую влажность, и уже ничто не мешало мне проделать то, что от меня и ожидалось. Я без труда проник настолько глубоко, насколько позволял мой размер. И на ощупь узнал место, где столько раз бывал. А там, во мраке, пропитался его соками, с восторгом терся о горячие и нежные стенки и закончил бурным извержением, после чего мне не осталось ничего иного, как убраться восвояси – без проволочек пройти назад той же дорогой и вернуться в открытый всем ненастьям мир.

26.

Я не пошел отмечать свой день рождения с Хромым, хотя и обещал, а время нашей с Пепой главной прогулки сократил, чтобы не упустить Никиту, если он вздумает явиться с поздравлениями. Правда, без советов матери парень не способен купить мне подарок, но я от него ничего такого и не требую. На самом деле меня порадовала бы любая мелочь – ну, не знаю, скажем, простая плитка шоколада, а потом я бы с лихвой компенсировал ему затраты, как столько раз щедро добавлял что-то к установленной ежемесячной сумме.

Еще до развода мы с Амалией договорились напоминать сыну про наши с ней дни рождения. Иначе он забывал бы про них, как сегодня забыл про мой. Амалия брала на себя труд от его имени покупать для меня подарки на день рождения, на День волхвов, на День отца, а я, соответственно, покупал вместо него подарки для Амалии, если только она сама не покупала себе тайком что-то и не отдавала мне, а я потом вручал Никите, чтобы в нужный день наш звереныш вроде как устроил бы матери сюрприз. Он с потрясающим равнодушием совал нам пакеты, даже не скрывая, что понятия не имеет об их содержимом, а мы обнимали его, бурно выражая свою благодарность, и сцены эти были достойны лучших испанских театров.

Мне не нужно от Никиты никакого подарка, но я был бы рад, черт возьми, если бы он просто обнял меня в мой последний в жизни день рождения. Неужели я так много прошу? Ведь хватило бы нескольких слов: «Привет, пап, как дела?» Даже если он очень занят, мог бы позвонить по мобильнику, за который, кстати сказать, каждый месяц плачу именно я. Уже вечером, сидя дома один, я понял, что не могу думать о Никите без чувства острой неприязни. Но в этом не было ничего нового. И раньше я тысячи раз точно так же злился на него. А потом, когда мы встречались, жалел и прощал.

Настроение у меня стремительно падало, так что после ужина я позвонил ему сам:

– Ты где? Что делаешь?

И тут я узнал о великом событии: на прошлой неделе он установил на своем компьютере новую игру. Никита произнес мне ее название на доступном ему примитивном английском и спросил, слышал ли я про такую. Что-то слышал, ответил я. Разумеется, ничего я не слышал, но мне показалось неуместным объяснять сейчас, что то, что приводит в восторг его, не обязательно должно приводить в восторг и все остальное человечество. По словам сына, он может играть в нее с партнерами из других стран. Суть игры состоит в том, чтобы поубивать из авто-

мата, или с помощью ручных гранат, или, как мне слышалось, с помощью мачете врагов из некой религиозной секты, а главное – уничтожить главу секты в тайном убежище.

Я хорошо представляю, как Никита часы напролет сидит перед компьютером, ест пиццу, картофельные чипсы и бутерброды, запивая все это сладкими напитками, как он портит себе зрение, набирает вес, движется к диабету... А может, дело не обходится и без наркотиков.

Вот такой у меня сын. Двадцатипятилетний раздолбай, который уверен, что явился в этот мир с важнейшей миссией – перебить побольше движущихся на экране компьютера фигурок.

Я спрашиваю, помнит ли он, какой сегодня день.

– Кажись, пятница.

Поблагодарив за полезную информацию, я пожелал сыну спокойной ночи и повесил трубку.

27.

Должен признаться, что слишком долго ни о чем не догадывался. Не догадывался – и все. Такой я человек. То, что когда-то давно накрепко засело в мозгу – иногда это называют предрассудками, – мешает мне разобраться в некоторых вопросах, если, конечно, я за всю свою жизнь вообще сумел как следует разобраться хоть в чем-нибудь. Порой я думаю, что Хромой был прав.

– Твоя проблема, – сказал он однажды в баре, когда еще не был искалечен, – заключается в том, что ты из-за кучи прочитанных книг перестал понимать простые вещи, а уж про сложные и говорить нечего.

Тут будет кстати вспомнить, как один раз Никита назвал меня дураком. Это вылетело у него как-то непроизвольно, при дедушке с бабушкой и при Амалии, когда он безуспешно пытался объяснить мне правила видеоигры, которую тесть с тещей только что купили ему в торговом центре.

Я покину сей мир в убеждении, что здесь все всегда правы – все, кроме меня. Зато мои воспоминания, они уж точно только мои, и в них я никому не позволю вмешиваться.

То, что случилось тем вечером, я записываю, как запомнил.

С прогулки мы с Пепой вернулись промокшие до костей. Ливень застал нас далеко от дома. Он был такой сильный, что над самой землей висела влажная пелена. Мы поспешили спрятаться под какой-то козырек, но время шло, уже начало смеркаться, завтра меня ждал новый рабочий день и новая пытка в школе. В те времена в метро с собаками не пускали, и вряд ли хоть один таксист посадил бы меня к себе в машину с Пепой. Дождь не унимался. Я твердо надеялся, что и в эту ночь, третью подряд, мне опять улыбнется удача и Амалия допустит меня до своего тела. Поэтому не стоило слишком задерживаться. Как тут быть? Я спросил Пепу, не будет ли она возражать, если мы немного помокнем. Немного? Я, конечно, бессовестно хитрил. Она кротко смотрела на меня, высунув язык, и не сказала нет. Так что мы с ней пустились в долгий обратный путь под тропическим ливнем.

Когда мы явились домой, вид у нас был такой, словно мы побывали в реке. Я оставил собаку на лестничной площадке, привязав к перилам, а сам пошел за полотенцем. Но первым делом скинул в прихожей ботинки. Я уже собирался снять и всю остальную одежду, но тут из гостиной до меня донеслись женские голоса и смех. Один из голосов был мне незнаком. Наверное, к Амалии пришла гостья, что, правда, случалось нечасто, но исключать такую возможность тоже не следовало.

Мы с ней не слишком любили принимать кого-то у себя дома. Почему? Потому что не могли похвастаться порядком и чистотой в квартире, не говоря уж о комнате сына, которая больше напоминала поле боя. Мы, конечно, старались воздействовать на него, но сами же и подавали Никите дурной пример.

Итак, раздеваться я не стал. Амалия, услышав, что я пришел, весело крикнула:
– Мы тут.

Как я догадался, за шутливым тоном крылось предупреждение: «Не вздумай войти в гостиную в одних трусах, совсем голый или босиком». Я снова натянул мокрые ботинки, но свитер поднимать с пола не стал и в весьма непрезентабельном виде, прямо в футболке, вошел в гостиную, чтобы поздороваться...

– Хочу познакомить тебя с Ольгой.

Ах так, значит, высокую и стройную женщину, коротко подстриженную и вполне симпатичную, звали Ольгой. В отличие от Амалии, продолжавшей сидеть, Ольга вежливо встала и подошла ко мне с протянутой рукой. Я посмотрел на нее, сравнивая наш рост. Она была выше меня, не намного, но выше. Я понадеялся, что в ее ритуал вежливости не входит обычай касаться щекой щеки промокшего насквозь мужчины. Если судить по первому впечатлению, ей было ближе к тридцати, чем к сорока. Пахло от нее чудесно.

На столе были разложены бумаги, похожие на документы, и я решил, что эта женщина пришла к Амалии по служебным делам. Меня совсем не удивило, что они, занимаясь какой-то общей работой, пусть в необычное время и в необычном месте, пили при этом шампанское. Амалия, как и я, не любила звать гостей в дом, потому что у нее не хватало времени на уборку и наведение порядка; но, к чести ее, должен добавить, что если уж кто-то у нас появлялся, то принимала она гостей как следует. Итак, меня вовсе не обидело, что она угощала эту самую Ольгу шампанским, моим шампанским, которое я берег в холодильнике для особого случая. Эту бутылку, кстати сказать, подарила мне на день рождения сама Амалия. И вот сегодня, как я догадался, к ней неожиданно пришла гостья. Не угощать же ее водой из-под крана? Зная Амалию, я подумал, что она, скорее всего, решила на следующий же день купить мне другую бутылку той же марки. Хотя я, понятное дело, ничего подобного от нее не потребовал бы. Надежда на третью ночь в постели Амалии делала меня покладистым, щедрым и каким угодно еще.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.